



# Сергей Александрович Тепляков

## Век Наполеона. Реконструкция эпохи

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2553505](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553505)  
Тепляков С. Век Наполеона: ОАО «ИПП «Алтай»; Барнаул; 2011  
ISBN 978-5-88449-238-7*

### **Аннотация**

«Век Наполеона» – это первая книга о наполеоновской эпохе «в формате 3D». Она является «волшебными очками», при взгляде через которые события, вещи, люди и их поступки приобретают объем. Само пространство эпохи впервые стало многомерным. Книга позволяет разглядеть крупное до мелочей, а мелкое – во всех подробностях.

В книге многое написано впервые: например, последовательно прослежена история французской оккупации Москвы; проанализирован феномен народной войны в наполеоновскую эпоху – не только в России, но и в Испании, Финляндии, Тироле, Пруссии; рассмотрены вопросы тогдашней военной медицины.

Рассказано о бытовой жизни на войне – в походе, в бою в плену. Биографические очерки об английском премьер-министре Уильяме Питте-младшем и английском короле Георге Третьем (вдохновители первых антинаполеоновских коалиций) также первые в российской наполеонистике. Рассмотрена и тема противостояния Наполеона и Церкви (скорее даже Наполеона и Бога), которая как минимум с 1917 года по понятным причинам российскими историками не анализировалась и во внимание не принималась. Очень много внимания уделено частной жизни людей того времени – их образованности, нравственным опорам, устремлениям и целям.

# Содержание

Предисловие	5
Времена и нравы	8
1	9
2	12
3	14
4	15
5	18
6	20
7	24
8	26
9	29
10	32
11	34
12	37
13	39
14	41
Смысл жизни	43
1	45
2	46
3	49
4	50
5	54
6	58
7	60
8	62
9	65
На войне	68
Часть I	69
1	69
2	74
3	76
4	77
5	79
Конец ознакомительного фрагмента.	84



# Сергей Тепляков Век Наполеона. Реконструкция эпохи

## Предисловие



В 2012 году исполняется 200 лет Отечественной войне. В разные времена к ней относились по-разному. Когда перед 100-летним юбилеем в 1911–1912 годах историки начали отыскивать ее памятники, в газетах появились печальные новости. Могила генерала Якова Кульнева, погибшего в бою под Клястицами 20 июля 1812 года, была в церкви принадлежавшего Кульневым села Ильзенберг. «Церковь бедная, неотложно нуждающаяся в капитальном ремонте. Пол церкви крашеный, деревянный, совсем прогнил. Подходишь к гробнице героя и чувствуешь, как трещит пол – того и гляди провалишься. Стены церкви сырые, церковь холодная. Обидно смотреть, в каком небрежении находится эта полузабытая белая церковь в полурусском крае, давшая вечный приют незабвенному герою», – так писал в январе 1912 года «Виленский военный листок». Тогда же выяснилось, что усадьба Кутузова Горошки на Волыни продана немцу-колонисту. По правде сказать, тогдашние газеты куда больше интересовались историями поисков наполеоновских кладов. Однако в честь юбилея были возведены памятники русским полкам и дивизиям на Бородинском поле.

Французы попросили разрешения поставить памятник своим – Россия разрешила. Но монумент, отправленный на пароходе «Курск» из Антверпена, в Петербург не дошел – 12 августа пароход попал в шторм и затонул. (Удивительное совпадение: в 2000 году, так же 12 августа, затонула атомная подлодка «Курск». Все же не стоит давать кораблям имена судов, нашедших свою смерть не в бою). В некоторых книжках пишут, что монумент представлял собой фигуру Наполеона – так, мол, император во второй раз не покорил Россию. Однако по описанию газеты «Виленский вестник» от 23 августа 1912 года памятник представлял собой «пирамидальную колонну высотой в три сажени, увенчанную бронзовым орлом». На пьедестале была высечена золотыми буквами надпись «Aux morts de la Grand Armee. 7 septembre, 1812» – то есть монумент, находящийся на Бородинском поле сейчас, повторяет его полностью, без всяких Наполеонов. Обелиск французы все же установили – со второй попытки. Однако после революции 1917 года, когда Отечественная война попала в разряд империалистических, его разломали в первую очередь – империалистический да еще и империя не наша! В 80-е годы прошлого века памятник восстановили при участии тогдашнего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Кстати, земля под памятником считается французской территорией, так что Франция от Москвы на самом деле не так далеко.

Большевики хотели взорвать и русские памятники на Бородинском поле, да руки не дошли. Или все же не поднялись? Только могилу Багратиона, про которого было известно, что похоронен он во всех орденах, разломали, кресты и звезды растащили.

Все изменило нападение Гитлера на СССР. Армии и стране нужны были герои, к которым НКВД гарантированно не имел бы вопросов. Часть наследия проклятого прошлого срочно реабилитировали: так в историю России вернулись имена Суворова, Кутузова, Багратиона. Евгений Тарле начал вносить правки в своего «Наполеона», сопоставляя Гитлера и Наполеона, естественно, не в пользу первого. В послевоенных изданиях эти места стали сокращать.

Своей книгой я хочу создать еще один памятник людям той удивительной эпохи.

Книга эта начата была летом 2008 года и окончена 28 октября 2010 года. Она началась с небольшого газетного очерка о наполеоновском времени, который потом разросся: каждый герой требовал написать о себе побольше, каждое событие содержало в себе столько поразительных подробностей, что делалось невозможным пройти мимо них.

В книге я по мере возможностей старался реконструировать эпоху, которую определил с 1793 года (первая победа Наполеона в Тулоне) и до 1821 года: степень осведомленности людей об окружающем их мире, их ценности, правила их жизни, отношение к смерти, к богатству, понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас нам кажется, что люди были одинаковы во все времена. Это так, да не так. Главное, что отличает нас, нынешних, от людей девятнадцатого века: они знали, для чего живут. Об этом – в главе «Смысл

жизни». Мы соревнуемся с соседями, а они тягались с богами – об этом в главе «Религия Наполеона». Ну да, они не были совершенны – об этом в главе «Времена и нравы». Но они строили свой мир так, чтобы не стыдно было передать его потомкам – об этом в главе «Питт». Глава «Георг III» – об одном из несчастнейших людей той эпохи, об английском короле. Война была для них частью жизни – об этом в главах «О войне», «В плену», «Ранение и лечение», а также в главе «Партизаны и ополчение». Они думали, что видят конец света, но оказалось – все к лучшему и нет худа без добра. Об этом – в главе «Москва в 1812 году». А о том, далеко ли на самом деле от великого до смешного и так ли далеки те люди от нас, сегодняшних, – в главе «Через века».

**Сергей Тепляков.**  
**28.10.2010.**

## Времена и нравы

*Население. Образование. История. Религия. Семья.*



# 1

**В 1812 году население России составляло 41 миллион человек, делившихся на разные сословия, а также – на производящий и непроизводящий классы.**

К первому относились купцы, мещане, вольные люди и крестьяне – казенные, удельные, помещичьи, дворцовые, конюшенные и т. п. (в 1812 году купцов, мещан и вольных людей было 137 тысяч, а, например, помещичьих крестьян – десять с половиной миллионов). Ко второму – дворяне (их было 225 тысяч на всю Россию), духовенство, военные и разночинцы. При этом «паразитов» было не много: непроизводящий класс относился к производящему как 1 к 9 – девять производителей содержали одного потребителя.

В 1811 году в России было 630 городов, при том, что городами считались тогда населенные пункты, которые теперь и деревней назвать было бы трудно. Так в России в 1811 году был 91 «город третьего класса» (с населением 5–10 тысяч), 233 города четвертого класса с населением от 2 до 5 тысяч человек, 141 город пятого класса с населением одна-две тысячи и даже города шестого класса – таких было 128, в каждом из них жило меньше тысячи человек. В столицах – Москве и Петербурге – жили по 300 тысяч человек. Города делились на уездные, заштатные (те, которые прежде были административными центрами, но потом по разным причинам потеряли свое значение, остались «за штатом»), посады и местечки. В европейской России один город приходился на 2.289 квадратных верст (в Сибири же – на 6.514 квадратных верст).

Жили широко, по нынешним меркам – невообразимо широко. У князя Александра Куракина, одного из видных сановников того времени, мундир был так залит золотом, что не загорелся во время пожара, которым кончился злополучный бал в честь свадьбы Наполеона и Марии-Луизы у князя Шварценберга в Париже. (Золото на мундире так раскалилось, что князя Куракина, найденного под досками пола, некоторое время не могли поднять – обжигались).

Елизавета Янькова (с ее слов Дмитрий Благово написал «Рассказы бабушки», уникальный документ конца XVIII – середины XIX веков) рассказывала: «Людей в домах тогда держали премножество, потому что кроме выездных лакеев и официантов были еще дворецкий и буфетчик, а то и два; камердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят; ключник, два дворника, скороходы, кучера, фореиторы и конюхи, а ежели где при доме сад, так и садовники. Кроме этого у людей достаточных (надо полагать, что прежде Янькова описывала городскую бедноту... – прим. С.Т.) и не то что особенно богатых бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть понемногу, а все-таки человек по десяти. Это только в городе, а в деревне – там еще всякие мастеровые, и у многих псари и егеря, которые стреляли дичь для стола; а там скотники, скотницы, – право, я думаю, как сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по двести человек прислуги, ежели не более. Теперь и самой не верится, куда такое множество народа содержать, а тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло...». В другом месте она перечисляет, что за прислуга жила в деревне ее отца Боброво: «У батюшки были свои мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; столовое белье ткали дома. И, кроме того, были ткачи для полотна; был свой кондитер».

Тогдашний «русский мир» и мир вообще – те города и территории, которые упоминаются в повседневном обсуждении, – были намного меньше. Путешествие из Петербурга в Москву занимало неделю. Тамбов жителям столиц уже казался дальними странами, окраиной империи (в романе Данилевского «Сожженная Москва» Ростопчин советует княгине Анне Аркадьевне Шелешпанской в случае приближения Наполеона к Москве уезжать «хоть бы в вашу коломенскую или, еще лучше, подальше, в тамбовскую вотчину»).

Английский тогда знал в России редкий человек, а, например, японский – пожалуй, и вовсе никто. В 1791 году в Иркутской гимназии был устроен класс японского языка, в котором преподавал спасшийся при кораблекрушении японец, принявший православие и живший под фамилией Колотыгин. Было у него пятеро учеников, которые должны были стать переводчиками в торговых делах с Японией. Однако в 1810 году японец Колотыгин умер. Учеников осталось только двое. Учителем к ним определили имевшегося в Иркутске японца с фамилией Киселев. Однако Киселев был «из японских простолудинов» и научить чему-либо своих учеников так и не смог.

Зато почти все русские дворяне говорили по-французски. Ну или считали, что говорят на языке Вольтера. На эту тему в те времена ходил забавный анекдот (кстати, и анекдотом тогда называли не придуманную, а реальную смешную историю): однажды за обедом у императора Александра генералы Уваров и Милорадович горячо разговорились между собой на французском. Император некоторое время силился их понять, но в конце концов обратился к сидевшему рядом французскому эмигранту графу Ланжерону с вопросом, о чем спорят Милорадович и Уваров. «Извините, государь, – отвечал Ланжерон, – я их не понимаю: они говорят по-французски...».

Приводящий в своих записках эту историю поэт Петр Вяземский добавляет с усмешкой: «Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку». (Денис Давыдов писал, что Милорадович обладал «страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке»). Федор Уваров же «блеснул» своим французским перед самим Наполеоном: как-то раз император французов, беседуя о каком-то сражении, спросил Уварова, кто тогда командовал русской конницей. Уваров отвечал: «Je, sire», хотя должен был бы сказать «se moi» (сэ муа – я). Ответ же Уварова аналогичен чукотскому «моя, моя командовала...».

При этом было немало желающих приблизить один язык к другому. Денис Давыдов писал: «Генерал Костенецкий почитает русский язык родоначальником всех европейских языков, особенно французского. Например *domestique* явно происходит от русского выражения дом мести. Кабинет не означает ли как бы нет: человек запрется в комнату свою, и кто ни пришел бы, хозяина как бы нет дома. И так далее. Последователи его, а с ним и Шишкова, говорили, что слово республика ни что иное, как режь публику».

Уже после вступления наших войск в Париж подобное «знание» французского нередко играло с русскими офицерами разные шутки. Так, один офицер в ресторане, отчаявшись разобраться в чужеземных буквах, просто отчеркнул карандашом первые четыре блюда и удивлялся, почему ему принесли четыре разные супа. Другой, услышав, как официант предлагает ему «пети пуа», велел принести, соблазнившись звучностью слов. Каково же было возмущение, когда оказалось, что это просто горох!

Впрочем, со многими среди русской знати была обратная история: превосходно говоря на французском, родной язык они знали кое-как. Князь Дмитрий Голицын, став в 1820 году московским генерал-губернатором, записывал свои речи сперва по-французски, потом переводил и буквально заучивал, как это делают школьники, малознакомые для него слова.

Тут надо знать, что на переломе веков и русских языков было два, если не больше (а может, у каждого русского он был свой). Как раз тогда Карамзин начал перестраивать русский язык, состругивая с него церковнославянскую многоречивость, выпренность, разные «поелику» и прочие слова. Карамзин делал язык проще, и он же добавлял в него новые, им придуманные, слова: «благотворительность», «влюбленность», «вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», «подозрительность», «промышленность», «утонченность», «первоклассный», «человечный». Из французского он ввел в русский слова «кучер» и «тротуар» (Кстати, еще Александр Блок писал «троттуар»). Он же вернул в оборот букву Ё (придумана она была еще в 1783 году Екатериной Дашковой, тогдашним дирек-

тором Петербургской академии наук, но применялась редко, так как выговаривать букву Ё считалось признаком черни – благородные господа вместо этого говорили Е).

Как всегда в России изменения эти наткнулись на противодействие. Некоторая часть общества полагала, что это все влияние Франции и что Россия уже и так сделала в эту сторону немало шагов: эдак через преобразования языка и заимствования слов недалеко и до главной заразы – революции! На защиту русского языка встали адмирал Александр Шишков и поэт Гавриил Державин. В 1803 году Шишков выпустил «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», в котором писал: «Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим». То есть Шишков видел в распространении французского языка почти прямую диверсию: «Человеческая душа не делается вдруг злою и безбожною; она становится таковою мало помалу, от примеров, от соблазнов, от общего и долговременно развивающегося яда безверия и развращения».

В чем-то он не ошибался: на момент написания «Рассуждения» Франция для русских была светочем, маяком, идеалом. Перед самой войной, в 1811 году, Шишков и Державин основали общество «Беседа любителей русского слова», главной задачей которого было продвижение «старого» русского языка и отражение атак на него Карамзина, Жуковского и других «новаторов». Шишков полагал, что знание французского языка и преклонение перед Францией по логической цепочке приведет русских к предательству России. Логика Шишкова в ходу и сейчас, только вместо Франции идеологическим диверсантом и развратителем русских душ посредством языка, сленга, кино и стиля жизни считается Америка. Между тем, как оказалось, одно вовсе не следует из другого. Возможно, поэтому после 1812 года, расставившего все точки на Ё, спор сам собой сошел на нет, хотя и с формальной победой новаторов русского языка.

## 2

**В те времена «науки» преподавались кое-как. В общем-то, человечество не так много и знало, так что особо и преподавать было нечего. Почти все, что сегодня для нас обыденно, тогда казалось сомнительной теорией и выглядело фокусом.**

Например, познания об электричестве были тогда на уровне трюков с дергающейся лягушачьей лапой. Да и то заметивший это Гальвани считал, что заряд электричества содержится само тело, и только Алессандро Вольта предположил, а затем и доказал, что электричество можно получать с помощью химических реакций, и создал в 1800 году «вольтов столб» – первую батарею, вырабатывавшую электричество (в Царскосельском лицее Александру Пушкину и его однокашникам на уроках физики показывали уже не только лягушачью лапу, но и «вольтов столб»).

При этом электричество кое-где уже попало в обиход: помещик Ижорской в романе Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» наказывает своих провинившихся людей не розгами, а электрической машиной. Ею же Ижорской лечил болезни – чуть ли не все подряд: например, когда скотник Антон от болезни не смог ходить, Ижорской пропустил через бедолагу ток. Недомогание «как рукой сняло».

Вполне вероятно, у Ижорского была «лейденская банка» – изобретенный еще в 1745 году голландцами ван Мушенбруком и Кюнеусом конденсатор электричества. Кстати, Кюнеус был первым в мире человеком, которого ударило током – Мушенбрук испытал действие «банки» на своем ученике.

Что физика – даже глобус выглядел тогда совершенно иначе. Антарктида еще не была открыта да и рассказы об Австралии (открытой в 1770 году) для многих были тем же, что для нас – фантастические повести о других планетах. Об Америке русские люди тогда не думали вовсе или думали ничтожно мало – своей земли было через край. Поэтому путешествие камергера графа Николая Резанова, именно в 1805 году добравшегося на бриге «Мария» (а вовсе не на «Юноне» и «Авось») до Калифорнии, тогда еще принадлежавшей испанцам, было почти сразу прочно забыто. Настолько прочно, что Вознесенский наткнулся на эту историю не в России даже, а в Ванкувере, в Канаде, читая книгу Джорджа Ленсена.

Поэт, правда, немного ее подшлифовал: у него Резанов отправляется в путь к Русской Америке 23 июля 1806 года на «Юноне» и «Авось», хотя на самом деле Резанов 26 июля 1803 года отплыл из Кронштадта в должности главы первой русской кругосветной экспедиции (в составе кораблей «Надежда» и «Нева») и одновременно русского посланника в Японии. В пути Резанов разругался с Крузенштерном, считавшим начальником кругосветки себя, до такой степени, что общались они только посредством записок, а после прихода кораблей в Петропавловск-Камчатский Резанов направил губернатору жалобу, в которой требовал Крузенштерна казнить. (Разброд был полный – командир «Невы» Юрий Лисянский то и дело отворачивал в сторону и плыл в одиночку – так открыл один из Гавайских островов). Кое-как Резанов и Крузенштерн помирились, однако дальше – в Россию мимо мыса Доброй Надежды – Крузенштерн отправился уже без Резанова: тот поплыл в другую сторону, на Аляску. «Юноне» Резанов купил уже в Америке («Авось» в реальной истории отсутствует). На ней он отправился в Сан-Франциско налаживать связи с испанской колонией. Тут, в Калифорнии, с сорокалетним вдовцом (жена Резанова умерла при рождении их третьего ребенка) приключилась любовь – он встретил 15-летнюю дочь губернатора Кончиту де Аргуэльо.

Вознесенский опускает причину по которой Резанов вынужден уехать от Кончиты, о расставании говорится только: «Я знаю, чем скорей уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе». Вознесенский понимал, что деталями нагружать поэму не стоит. Детали были вот в чем: Резанову на брак с католичкой требовалось, кроме разрешения Российского императора

(как на всякий брак его подданного с подданным других монархов), еще и согласие Папы Римского. Была еще и проза: Резанов спешил отвезти провиант в Ново-Архангельск – какая поэма выдержит солонину, крупу и водку?

На решение всех проблем Резанов просил у Кончиты и ее родни два года. В Красноярске 1 марта 1807 года он умер. В биографиях пишут, что он простыл. В поэме Вознесенского говорится, что Резанов умер от «пустой хворобы». Понимать это можно по-разному. Однако в «Сибирском хронографе» со ссылкой на словарь Митрополита Евгения говорится, что погубило мореплавателя сибирское хлебосоольство: в Якутске, Иркутске и других городах империи его угощали так, что здоровье графа не выдержало. За едой ехал – от еды и погиб...

(В Красноярске его надгробие на берегу Енисея простояло до 60-х годов прошлого века. Потом там решено было строить концертный зал. Могилу вскрыли. В ней лежал скелет в камергерском мундире и при шпаге. Шпагу будто бы увезла тогдашняя заведующая краевым отделом культуры).

Кончита ждала своего возлюбленного 35 лет, после чего ушла в монастырь под именем Мария Доминга. Кстати, намного раньше Вознесенского об этой истории любви написал Френсис Брет Гарт, американский писатель, вышедший из золотоискателей. Его баллада «Консепсьон де Аргель» была известна еще в дореволюционной России.

Сорок лет осаду форта ветер океанский вел  
С тех пор, как на север гордо русский отлетел орел.  
Сорок лет твердыню форта время рушило сильней,  
Крест Георгия у порта поднял гордо Монтерей.  
Цитадель вся расцвятилась, разукрашен пышно зал,  
Путешественник известный, сэр Джордж Симпсон там блистал.  
Много собралось народу на торжественный банкет,  
Принимал все поздравленья гость, английский баронет.  
Отзвучали речи, тосты, и застольный шум притих.  
Кто-то вслух неосторожно вспомнил, как пропал жених.  
Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон: «Нет, жених не виноват!  
Он погиб, погиб бедняга сорок лет тому назад.  
Умер по пути в Россию, в скачке граф упал с конем.  
А невеста, верно, замуж вышла, позабыв о нем.  
А жива ль она?» Ответа нет, толпа вся замерла.  
Конча, в черное одета, поднялась из-за стола.  
Лишь под белым капюшоном на него глядел в упор  
Черным углем пережжённым скорбный и безумный взор.  
«А жива ль она?» – В молчаньи четко раздалось слова  
Кончи в черном одеянье: «Нет, сеньор, она мертва!».

Резанова в России забыли еще и потому, что Крузенштерн и Лисянский, вернувшись в 1806 году в Россию, постарались своего начальника из истории кругосветки вычеркнуть. Они, впрочем, и друг друга бы вычеркнули – так ревновали один другого к славе первопроходцев. В 1809 году начал публиковать свой отчет Крузенштерн, в 1812 году выпустил книгу Лисянский. Интересно, что Крузенштерн даже после экспедиции считал Сахалин полуостровом наподобие Камчатки.

### 3

**Впрочем, не только географию России, но и ее историю русские знали довольно смутно. Василий Никитич Татищев, живший во времена Петра Первого, отыскавший «Русскую правду» Ярослава Мудрого и «Судебник» Ивана Грозного, 30 лет писал «Историю Российскую с самых древних времен». Использовал он бесчисленное множество разных рукописей и летописей, семейные предания, сопоставляя их, словно следователь.**

Тогда, как и сейчас, от «Истории» требовали побольше «лепоты». Когда в 1739 году Татищев стал показывать свою книгу в Петербурге (рассчитывая, что кто-то поможет советом), то в конечном счете (вполне по нынешним традициям) «явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в оной православную веру и закон опровергал».

Интересно, что у Татищева есть главка «Боязнь истинной истории», в которой он пишет «по страсти, любви или ненависти совсем не так, нежели на самом деле свершалось, описывают, а у посторонних (имеются в виду иностранные историки – прим. С.Т.) многократно правильнее и достовернее бывает».

Когда Татищев в 1750 году умер, его «История» была доведена до XVI века. Однако единственный беловой экземпляр книги сгорел при пожаре, «Историю» Татищева восстанавливали потом по черновикам, и свет книга увидела только в 1768 году.

Карамзин был вторым, кто пытался «поднять вес». Александр Первый дал ему чин статского советника (пятый класс) и должность историографа (пишут иногда, что такой должности не было ни до Карамзина, ни после, однако адмирал Александр Шишков в 1799 году получил должность историографа флота). Все это была охранный грамота: Александр показывал, что давать советы Карамзину будет только один человек. Возможно, отчасти поэтому Карамзин создал свою «Историю государства Российского» быстрее Татищева: начав в 1804 году, в 1816-м уже выпустил первые восемь томов (при том, надо помнить, что вокруг шла жизнь, от которой можно было потерять всякое желание писать о древностях. После известия об Аустерлице Карамзин написал в письме: «я несколько ночей не спал и теперь еще не могу привыкнуть»).

В апреле 1812 года Карамзин писал другу: «Спешу окончить Василия Темного».

Василий Темный – великий московский князь, правивший в XV веке, так что труд Карамзина был еще очень далек от завершения. Россия могла остаться и без истории вовсе: летом 1812 года Карамзин остался в Москве, отправив жену с детьми в Ярославль. Один экземпляр «Истории» Карамзин отдал жене, второй сдал в Архив иностранной коллегии (там он и сгорел). Карамзин хотел поступить в ополчение, но Ростопчин своей властью оставил его при себе.

## 4

**Было ли в русских того времени больше Бога, чем в нас, нынешних? На этот вопрос можно ответить и так, и эдак и подо все найти нужное количество доводов и цитат.**

Однако прежде всего надо знать, что первая полная Библия на русском языке была издана только в 1876 году. (Это, кстати, к вопросу о тысячелетнем христианстве на Руси – на самом деле еще нет и 140 лет, как русские люди стали понимать, о чем идет речь в Священном Писании). До тех пор Священные Книги писаны были на церковнославянском языке, который и не каждый из священников понимал. Казалось бы – взять и перевести, однако, надо думать, останавливал страх: вот патриарх Никон вроде бы совсем немного хотел поправить, а кончилось расколом. Так что Библию не трогали – от греха. Дворянство читало Библию по-французски, простому же народу оставалось принимать Слово Божье в прямом смысле на веру – как священник растолкует.

В изданной в 1878 году книге Стефана Сольского «Об участии императора Александра Первого в издании Библии на русском языке» говорится: «Древнеславянский язык, на который были переведены наши священные книги, издавна уже сделался не вполне понятным народу; для правильного разумения его стало необходимым научное образование. Несмотря на это, древнеславянский текст по одной своей давности делался чем-то священным и неприкосновенным не только в глазах народа, но даже для высшего образованного класса. Отдельные попытки приспособления библейской речи к народному пониманию и даже частные опыты переложения священных книг на народное наречие были издавна известны в нашей церковной истории. Еще Максим Грек (умер в 1556 году) по просьбе Нила Курлятева переводил Псалтирь с греческого на русское наречие; затем Тихон Воронежский (умер в 1783 г.) решался перевести Псалтирь с еврейского и Новый Завет с греческого на русский язык; Амвросий Зертис-Каменский (умер в 1771 г.) вместе с Варлаамом Лящевским переводил Псалтирь с еврейского на русский язык; Мефодий Смирнов (умер в 1815 г.) составил толкование на Послание к римлянам при помощи перевода его на русский язык. Но эти частные попытки, направленные к изъяснению библейского текста, не могли равняться общему мероприятию, имевшему в виду сделать издание Библии на русском языке общеупотребительным и народным. Наряду с упомянутыми иерархами, занимавшимися переводами священных текстов, были такие, которые так размышляли: «если рассудить в тонкости, то Библия у нас и не особенно нужна. Ученый, если знает по гречески, греческую и будет читать; а ежели по латыни, то латинскую. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется».

Даже Катехизисов (своего рода «краткий курс» и одновременно толкование Священного Писания) не было: один, Петра Могилы, выпущенный еще в 1662 году, да и то на греческом языке, в описываемую эпоху вряд ли был широко известен; Катехизис же митрополита Филарета, первый на русском языке, издан был лишь в 1828 году. (На его примере видно, как священнослужители своими толкованиями смягчали категоричность заветов Господа. Например, сказал Господь: «Не убий», а в Катехизисе Филарета по поводу этой заповеди сказано: «Не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Не является незаконным убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1) когда преступника наказывают смертью по правосудию; 2) когда убивают неприятеля на войне за Отечество»).

В результате в массе своей как простой люд, так и дворяне знали Библейские истории в самых общих чертах: слышали про судьбу Содомы и Гоморры, за заковыристую поминали ассирийского царя Навуходоносора. А вот знали ли они заповеди «не убий», «не укради» – тут уже вопрос сложный.

Лев Толстой, родившийся чуть позже наполеоновской эпохи, в своей повести «Детство» чтение Библии не упоминает. Бог для маленького Льва Толстого был вполне определенным существом, однако имеющим против остальных особые сверхполномочия. «... Бывало, придешь на верх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к богу как-то странно сливались в одно чувство», – пишет Толстой.

В этом суть: Бог впитывался человеком с детства, Он был выше матери и выше отца, Он становился одной из тех ценностей, которая честным человеком не продается и не предается ни за что, никак, никогда. Присутствие Бога и его участие было неоспоримо: «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», – говорит маленькому Левушке в «Детстве» увольняемый учитель Карл Иванович, преподав этими словами своему ученику, быть может, самый важный урок.

Чем меньше знания, тем больше веры, и в этом нет ничего удивительного. Русские люди тех времен знали о Боге, мягко говоря, в общих чертах и недалеко ушли от средневековья: верили в чудеса, в высшее заступничество («два раза Бонапарт посылал отряд, чтобы поразведать, нет ли войска нашего и казаков в Троицкой лавре, и захватить лаврские сокровища, но посланные никак не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туман спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назад», – вспоминала Янькова), общались с Богами запросто, толковали внутрисемейные события и события во внешнем мире как знаки. Та же Елизавета Янькова рассказывала своему внуку, что после возвращения в разрушенную французами Москву они решили прежде восстановления дома отстроить давно задуманный придел в церкви: «Мы собирались опять строиться в Москве, и хотелось нам освятить один из приделов нашей церкви во имя святителя Димитрия. (...) Неприятель помешал, а теперь можно было и приняться. У нас даже было на уме, что Господь нас за то и наказал, что мы себе дом выстроили, а церковь все еще стояла недоделанная».

В опубликованном в 1831 году романе Михаила Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» старик Иван Архипович, глядя на то, как французы вступают в Москву, говорит: «Да, батюшка, гнев божий!.. Мы все твердили, что господь долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили – вот и дождались, что нехотя придется каяться». А встреченный Зарецким уже за Москвой студент риторики в Перервинской семинарии говорит: «Наполеон, сей новый Аттила, есть истинно бич небесный». Русский человек воспринимал себя в тот момент как любимый ребенок, которого наказывает любящий отец: понимая, что в конце концов все будет хорошо – отец простит. Жизнь для православного человека была довольно проста: если беды сыплются одна за другой, разберись – что не так в твоей жизни? Нагрешил – покайся и искупи. Если вслед за искуплением все равно следовало то, что можно было считать карой, то, значит, Господь решил, что либо покаяние было неискренне, либо искупление – недостаточно. Искупить вину человек старался по большей части добрыми делами. Сама по себе привычка всех к добрым делам делала людей того времени иными и одновременно создавала определенный круговорот событий, при котором плохое всегда сменялось хорошим, где человек спешил делать добро, рассматривая как повод для этого практически любое событие своей жизни.

Жизнь человеческая в ту эпоху была нанизана на веру, как на нитку. Дети простого народа со времен Екатерины получали образование в приходских школах, где непосредственно образование заключалось в общем-то в науке читать, писать и освоении первых действий арифметики, а все остальное было воспитание: Закон Божий, нравоучение (был такой предмет), а еще детям читали книгу «О должностях человека и гражданина», основной идеей которой была богоустановленность существующих общественных отношений, из чего следовала необходимость повиноваться монарху и законам даже в том случае, если

человек в них сомневался. (Этот выполненный в 1783 году под личным присмотром Екатерины перевод книги австрийского педагога Иоганна Фельбигера был в русских школах едва ли не главным учебником до 1819 года).

При этом надо понимать, что даже такое образование не было поголовным – в нем просто не видели особой нужды, и не только крестьяне, но и люди иных классов (среди русских офицеров 12-го года около половины не знали грамоте). Закон Божий в его крайне примитивном виде был, кроме житейских навыков, едва ли не единственным знанием – он объяснял и мир, и смысл жизни.

Вместе с тем в среде русского дворянства был, впрочем, уже и некоторый скепсис: Владлен Сироткин в своей книге «Наполеон и Россия» приводит воспоминания Сергея Глинки, заставшего Николая Новосильцева (один из близких друзей царя Александра) за чтением «Апокалипсиса». Глинка, прежде не замечавший за Новосильцевым особой набожности, удивился и спросил: «Зачем ты это делаешь?». Тот отвечал: «Да вот хотим произвести Наполеона в Антихристы!». Наполеона в России, и правда, дважды объявляли Антихристом: в первый раз в 1806 году, после чего теплое тильзитское общение Александра с Наполеоном выглядело особенно странно. (Другой вопрос, что в те времена телевидения не было, и крайне мало кто видел, как именно проходило это братание, так что для народа и это было как-то трогательно объяснено).

## 5

**Настоящие попытки выбросить из себя Бога начались у русского человека со Льва Толстого. В «Исповеди» он пишет: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во всё время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили».**

Однако еще ко времени детства Толстого атеизм стал модой, фокусом, как курить за углом в советской школе: «когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году – прим. С.Т.). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное», – пишет Толстой.

Главная мысль «Войны и мира» состоит как раз в том, чтобы доказать, что не Бог управляет жизнью человеческой, найти свое объяснение мира, причин и следствий событий. Возможно, и Наполеона Толстой не любил как раз потому, что Наполеон сам по себе являлся подтверждением существования Бога: без божественного вмешательства такая судьба невозможна. Урок – не испытывай судьбу без конца – был понятен. Но Толстой явно не был согласен с этим уроком.

Вполне вероятно, Толстой хотел дать своим современникам новый смысл взамен того, с которым прожили жизни их отцы и деды. Толстой закончил «Войну и мир» в 37 лет – отсюда и молодежный задор, и желание объяснить мир по-своему, и полная уверенность в том, что до него никто не додумался до истины. («Я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости», – признавался Толстой). Это было такое восстание Прометея в четырех томах. Причем, по усилиям, какие делает Толстой на корчевание Бога из русской жизни, понятно, как много места Бог в этой жизни занимал.

Но какова же его, толстовская, идеология? А вот: «В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей». Пить, есть, получать все роды удовольствий – вот для чего по Толстому рожден человек. В этом он в общем-то оправдывал еще и самого себя (Толстой в молодости любил жить – пил, играл в карты, а уж женщины «беспокоили» его почти до самой смерти).

Впрочем, пока еще это у Толстого дискуссия – в другом месте тому же Пьеру приходит видение: «Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий». «Каратаев!», – вспомнилось Пьеру. И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. – Вот жизнь, – сказал старичок учитель. «Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде. В середине Бог, и каждая капля

стремится расширяться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает...».

При этом известный по советскому курсу литературы представитель народа Платон Каратаев о Боге и говорит, и думает мало. Молится он так: «Господи Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас!». Толстой, надо думать, и в самом деле где-то слышал эту молитву – вряд ли ведь придумал. Немногословен Каратаев в своем общении с Богом – но ведь чтобы понимать показания компаса и руководствоваться ими, не обязательно полностью знать курс навигации. Главное в Каратаеве – отношение к людям: в нем столько добра, что он как спичка зажигает добро в других. Француз, потребовавший себе оставшийся от пошива рубашки кусок материи, на который Каратаев уже строил планы, сначала вытребовал себе это полотно, а потом... отдал Каратаеву. «Вот поди ты, – сказал Каратаев, покачивая головой. – Говорят, нехристи, а тоже душа есть. (...) Сам голый, а вот отдал же».

(Впрочем, не тот ли француз потом, при отступлении, пристрелит Каратаева, когда он, обессиленный, не сможет при подъеме встать в строй?).

Марк Алданов в работе «Загадка Толстого» пишет: «Знаменитый физик Герц, изучая электромагнитную теорию света, созданную гением Кларка Максвелла, испытывал такое чувство, будто в математических формулах есть собственная жизнь. «Они умнее нас, – писал Герц. – Умнее даже, чем их автор». Нечто подобное испытываешь при чтении художественных произведений Толстого. (...) Эти дивные книги живут самостоятельной жизнью, независимой от того, что в них вложил или желал вложить автор (...). И очень часто скользящие в них настроения странным блеском отсвечивают на том догматическом здании, которое тридцать лет так упорно воздвигал Л.Н. Толстой».

«Странным блеском» отсвечивает на идею романа смерть Андрея Болконского. Если Бог не участвует в судьбах человеческих, то отчего же вдруг так спокойно стало раненому князю за несколько дней до смерти, что же тогда открылось ему? Почему вдруг не жаль стало ему жизни?

«Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения. «Да, им это должно казаться жалко! – подумал он – А как это просто!» «Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал».

## 6

**Вообще «Война и мир» – это длинное доказательство теоремы, ответ которой у Толстого уже был. Он старательно пытался подогнать под него все иксы и игреки.**

Однако они не подгонялись, и к концу доказательства Толстой понял, что ничего не доказал – это отлично видно из второй части эпилога, где Толстой многословием пытается скрыть, что своего объяснения мира у него нет. (Впрочем, мало кто уличил Толстого в этом, так как еще Яков Лурье в своей книге «После Толстого» пишет: «вторую часть Эпилога, выходящую за рамки сюжета, читают немногие»).

Толстой пишет: «Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой – жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа. На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос – признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос – признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества. Новая история в теории своей отвергла оба эти положения. Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике».

Проще говоря: древние верили, что все по воле Божьей и что власть от Бога, а современники Толстого эти идеи на словах отвергли, но на деле остались им верны. Толстой в том и видел свою задачу: отыскать, кто же на деле управляет жизнью человеческой: «Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории».

При этом идею власти как движущей силы истории Толстой отрицает. Потом у него идет подряд несколько страниц размышлений, время от времени просто очень смешных, а иногда обескураживающих в желании Толстого видеть то, что ему хочется видеть, например: «Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его».

С мыслью о судьбе и предопределении, которые являются несомненными опорами идеи божественного промысла в истории человечества в целом и каждого человека в отдельности, Толстой борется так: «Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы».

Налицо явное желание хоть в чем-то уличить если не Бога, то хотя бы Учение, и при этом – налицо полное отсутствие аргументов по причине скорее всего полного незнакомства с предметом критики. Библия ведь дает немало поводов скептически настроенному уму.

Вот в 1901 году, написав после отлучения от церкви «Ответ Синоду», Толстой пишет о православии куда более конкретно, хотя и все с тем же настроением: открыть в общепризнанном СВОЮ истину. «То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о божестве, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении», – пишет Толстой. И дальше он начинает именно «ловить» Церковь на деталях: «Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям,

если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдуманно врагами Христа».

Кто мешал этим же попрекать Церковь еще при написании «Войны и мира», в той же 2-й части эпилога? Ответ скорее всего кроется в том, что «Война и мир» увидела свет в 1865–1868 годах, а первая полная Библия на русском языке была издана только в 1876 году и до этого Толстой Библию, похоже, просто не читал.

Отвергнув Бога и его учение, Толстой попытался придумать свое. В «Исповеди» он пишет: «Вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование». И тут же признает: «Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать». Почти сразу совершенствование завело Толстого не туда, куда он хотел бы попасть: «очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других». Надо полагать, Толстой отлично понимал, что желающих быть славнее, важнее и богаче других и без него пруд пруди, так что в этом он Америку не открыл.

Он вдруг понял, что если Бога нет, то жизнь человеческая не имеет смысла. «Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние..., – писал Толстой. – Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: «Зачем? Ну, а потом?»... (...) Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж?!..» И я ничего и ничего не мог ответить». Толстого охватывало «чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь...».

Страх смерти – вот что выбивало у Толстого почву из-под ног. Плеханов в работе «Карл Маркс и Лев Толстой» писал: «Граф Толстой усердно доказывал, что смерть вовсе не страшна. Но он делал это единственно потому, что нестерпимо боялся ее». Страх смерти, почти неизвестный людям наполеоновского времени, твердо убежденным, что, например, от редута Раевского они на своих лошадях взъедут прямо на небеса, – это было именно то, что получал человек, «освободившись» от Бога. Толстой не хотел умирать, а вечную жизнь обещал только Господь Бог. И тогда Толстой встал на колени и пополз к Престолу Его...

В книге «Спелые колосья», где собраны записанные за Толстым его мысли и фразы, есть такая: «Важно то, чтобы признать бога хозяином и знать, чего он от меня требует, а что он сам такое и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник, он

хозяин». Это – полная капитуляция. Плеханов написал: «Толстой считает религию первым условием действительного счастья людей».

Вся девятая глава «Исповеди» – это многословное обоснование капитуляции перед идеей Бога. Толстому неудобно было сдаться просто так, пасть на колени перед образами, и он имитирует мыслительную деятельность, чтобы потом на усмешки можно было что-то предъявить. «Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога. (...) Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь. «Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня». (...) Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым».

При всем своем величии Толстой был привязан к обществу больше, чем думал сам: это ведь для общества были придуманы все эти объяснения и доказательства – Богу они не нужны. Но там, где нужны доказательства, нет веры. Марк Алданов цитирует Байрона: «Мысль – ржавчина жизни». В случае с Толстым мысль разъела его жизнь, проделав в его новообретенном смысле бытия большую дырку.

«Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость..., – пишет Толстой. – Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде».

Даже уверовав, он постоянно все анализировал: «почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры». Толстого не устраивало то, что православие считает все остальные религии ересью («почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии?»), а потом он и вовсе понял, что на земле настоящей веры нет и быть не может («В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся»).

Уверовав в одиннадцатой главе «Исповеди», Толстой уже в четырнадцатой разуверился снова. Едва построенный корабль веры тут же разбился о скалы – возможно, именно потому что веры никакой не было. Он запустил себя по второму кругу: «И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина».

Правда, Толстой стал осторожен: «Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать». Дальнейшие слова являются своего рода доносом – Толстой хочет объяснить Господу Богу, что на земле у Него плохие слуги: «Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил (...), но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. (...) Но откуда взялась ложь и откуда

взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью». Толстой решил воевать не с Богом, а со слугами Его, вполне вероятно, надеясь получить от Него за это даже какую-то особую награду.

На самом деле «Исповедь» лучше объясняет человека XIX века, чем «Война и мир», но кто бы вставил в советские учебники книгу о том, что главное для человека Вера? «Исповедь» потому и не изучали в советской школе, что слишком велик в ней религиозный заряд. Начав с борьбы с Богом, Толстой закончил борьбой с Церковью – а это, согласитесь, не атеизм.

(При этом Толстой не замечал, вернее, не понимал, что иногда, если не всегда, Бог диктует ему – поэтому те места, где Толстой пытается думать, так радикально скучны в сравнении с теми, где он просто описывает то, что видит перед своим мысленным взором (так Анна Ахматова говорила, что она просто записывает то, что ей диктуют). Например, в «Смерти Ивана Ильича» Толстой вдруг пишет «Вместо смерти был свет». Вместо *ничего*, небытия Иван Ильич вдруг увидел свет и это примирило его. А до этого «он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то». Толстой описал клиническую смерть точно так же, как это описано в книге американского психотерапевта Раймонда Моуди «Жизнь после смерти», где впервые были собраны воспоминания о смерти тех, кто выбрался потом с того света. Но книга Моуди вышла в 1976 году – откуда и как Толстой в 1882 году мог *знать* все и про свет, и про тоннель, по которому несется вырвавшаяся из тела душа? Придумал? Но когда Толстой пытается именно придумать, у него не придумывается, он именно *знал*, но при этом, видимо, и сам не заметил своего знания).

«Исповедь» была написана Толстым в 1879 году, переработана в 1881 году, а завершена в 1882-м. То есть, когда Толстой ставил в ней точку, он уже был почти человек XX века (особенно если учитывать, что он со своими идеями успевал сделать несколько кругов там, где девять из десяти едва отходили от старта). И все равно он не нашел иного смысла, чем Бог. Что же говорить о людях, живших за 50, 70, а то и сто лет до него? Для них Бог был реальным действующим лицом почти каждого события.

## 7

**При всем том считать, что люди того времени были лучше, чем мы, не стоит: как всегда, были всякие. Назначенный в 1803 году Сибирский генерал-губернатор Селифонтов в подражание августейшим особам имел фаворитку (жену свою он оставил в Тобольске).**

Более того, фаворитку имел и его сын! Две эти женщины и управляли Сибирью до 1806 года. Потом Селифонтов был с должности уволен с воспрещением въезда в столицы. По тем временам это был серьезный удар, дальше – только повесить: ведь сослать Селифонтова было в общем-то некуда – разве из Сибири в Сибирь?

Но сменивший Селифонтова тайный советник Иван Пестель (кстати, отец будущего декабриста Павла Пестеля) оказался, как часто бывает, еще хуже: он начал с уничтожения жалоб и всякой возможности жаловаться, а затем просто уехал в Петербург, оставив распоряжаться громадной территорией Трескина, бывшего почтового чиновника, при Пестеле сразу ставшего Иркутским губернатором. Сибирь была оцеплена таможенными, на которых в первую очередь просматривали письма – нет ли жалоб на начальство? Да царю в эпоху наполеоновских войн было и не до Сибири вовсе. Жаловаться было на что: Трескин, например, не пускал в Иркутск крестьян с хлебом, принуждая жителей покупать хлеб в казенных магазинах. (Из-за злоупотреблений с хлебом в Туруханском крае в 1810–1811 годах был голод, при котором доходило до людоедства). Крестьянских дочерей принудительно выдавали замуж за поселенцев. Пожертвованные на благотворительность деньги разворовывались – возможно, «отщипнули» и от средств, собранных в 1812 году, когда сибирским губерниям разрешено было вместо рекрут жертвовать деньги, по 2 тысячи рублей за человека. Отдельные претензии были по поводу продажи «дурного вина».

Бесправен был не только простой народ: в Енисейске городничий катался по городу на чиновниках, которые посмели подать просьбу сменить его. Только в 1818 году иркутский мещанин Салматов, разоренный местной администрацией, был снаряжен купцами с жалобой в Петербург. Может, Салматову удалось как-то особо рассказать царю о жизни в Сибири, или у Александра, восстанавливавшего европейскую Россию после наполеоновского нашествия, наконец нашлось время для окраин империи – 22 марта 1819 года Пестель был уволен с должности Сибирского генерал-губернатора.

К тому времени жизнь в Сибири была такова, что назначенный новым Сибирским генерал-губернатором Михаил Сперанский писал из Томска: «Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, то здесь оставалось бы уже всех повесить». В Иркутске, дабы предотвратить жалобы, исправник (по нынешнему – начальник УВД) Лоскутов собрал в уезде всю бумагу и чернила. Ужас людей перед этими «царьками» был таков, что когда Сперанский приказал арестовать Лоскутова, бывшие при этом крестьяне упали на колени и, хватая Сперанского за руки, кричали: «Батюшка! Да ведь это Лоскутов!». У главного иркутского «мента» было описано имущества на 138 тысяч 243 рубля – при том, что серебру и мехам оценка не делалась.

И ведь Лоскутов, Пестель, Трескин и многие тысячи других жили в те же времена, что и Багратион, Милорадович, Денис Давыдов... Надо полагать, большая часть денег была «нажита» Лоскутовым как раз когда другие жертвовали для войны с Наполеоном последнее, как, например, мастеровой Белкин, принесший в конце августа 1812 года в Барнаульскую заводскую контору пять рублей серебром – в те времена на них можно было купить корову. Чиновник, знавший, что Белкин имеет большую семью и живет в постоянной нужде, спросил, откуда такая сумма. Мастеровой на это ответил: «Эти деньги оставил мне отец, при смерти своей завещая, чтобы я берег их на черный день. Слыша, в каком положении наша

святая Русь, я рассудил, что для всех нас не может быть дней, чернее нынешних. И потому, исполняя последнее желание родителя моего, прошу принять мои деньги...».

## 8

**Лермонтов написал о России: «страна рабов, страна господ». На самом деле господин в России был только один – государь император. Все остальные были рабами, с той лишь разницей, что одни жили в хижинах, другие – в дворцах.**

Даже мягкий нравом Александр Первый иногда устраивал показательные порки. В 1809 году князь Андрей Горчаков написал письмо одному из австрийских генералов эрцгерцогу Фердинанду: поздравил с победой при Ваграме (видимо, первые известия представляли эту битву как победу австрийцев), выразил желание, чтобы российские и австрийские «храбрые войска были соединены на поле чести», и заявил, что «с нетерпением ожидает времени, когда мог бы присоединиться со своею дивизией к войскам эрцгерцога». Французы перехватили письмо. На тот момент после Тильзита Россия формально была союзницей Франции, и солидаризоваться с австрийцами надо было как-то аккуратнее. Горчакову досталось: по высочайшему повелению он был предан военному суду, после чего велено было «отставить его от всех служб, никогда в оные не принимать и воспретить въезд в обе столицы». 29 сентября 1809 года Горчаков был навсегда уволен со службы. (Впрочем, слово «навсегда» в те времена особой категоричности не имело: 1 июля 1812 года, сразу после начала войны с Наполеоном, Горчаков был принят на службу).

Высшие классы были несвободны, а все их богатство и внешнее могущество, наверное, только усиливало это ощущение несвободы. Неспроста Семен Воронцов, русский посланник в Англии, не торопился домой: в Англии он был большой русский вельможа, а в России при всех его несметных миллионах – никто.

В девятнадцатом веке цари обращались с дворянами так, как за сто лет до этого Петр Великий обращался со своими шутами и шутихами. Павел Чичагов, будущий адмирал, известный в истории наполеоновских войн своим злосчастным опозданием к Березине, в 1797 году подал прошение об отъезде в Англию, где намерен был жениться на Элизабет Проби (он влюбился в нее в Лондоне, где год изучал морскую науку). Император Павел дал ответ: «в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию».

За Чичагова вступился было его давний друг, тот самый граф Семен Романович Воронцов: по его просьбе англичане заявили Павлу Первому, что представителем русского флота в союзных военно-морских силах хотели бы видеть именно Чичагова. К тому же Воронцов расписывал своим друзьям в России связи невесты – она состояла в родстве с лордом Корисфортом, жена которого была сестрой лорда Гринвилла, входившего в правительство Уильяма Питта-Младшего. Павел, до которого слухи обо всех этих выгодах неминуемо доходили, уже согласился было на брак, хоть и с условиями (довольно приятными – Чичагову надлежало после заключения брака немедленно вернуться из Англии и вступить в должность флагмана Балтийского флота), но тут старый недоброжелатель адмирала Кушалев, стоявший тогда во главе российского флота, заявил императору, что Чичагов хочет перейти на сторону англичан. Адмирал тотчас попал в Петропавловскую крепость, где едва не умер от горячки. За него вступился генерал-губернатор Петербурга граф фон-дер-Пален (будущий организатор убийства Павла Первого). Чичагов был освобожден, восстановлен в звании и всех правах и в 1800 году смог наконец выехать к своей невесте.

Впрочем, по настроению Павел Первый мог быть и романтиком. Петр Вяземский описывал случай: «Во время Суворовского похода в Италию государь в присутствии фрейлины княжны Лопухиной читает вслух реляцию, только что полученную с театра войны. В сей реляции упоминалось между прочим, что князь Гагарин (Павел Гаврилович) ранен; при этих словах император замечает, что княжна Лопухина побледнела и совершенно изменилась в лице». Павел понял, что это любовь. Он послал Суворову повеление о том, чтобы Гагарин

был отправлен курьером в Петербург. Курьер приезжает. «Государь принимает его в кабинете своем, приказывает ему освободиться от шляпы, сажает и расспрашивает его о военных действиях, – пишет Вяземский. – По окончании аудиенции Гагарин идет за шляпой своей и на прежнем месте находит генерал-адъютантскую шляпу. Разумеется, он не берет ее и продолжает искать своей. «Что вы, сударь, там ищете?» – спрашивает государь. «Шляпы моей». – «Да вот ваша шляпа», – говорит он, указывая на ту, которой, по приказанию государя, была заменена прежняя. Таким замысловатым образом князь Гагарин узнал, что он пожалован в генерал-адъютанты. Вскоре затем была помолвка княжны и князя, а потом и свадьба их».

В другой раз Павел «устроил счастье» Багратиона (он как раз после Швейцарского и Итальянского походов вошел в большую моду). Узнав, что князю нравится фрейлина графиня Екатерина Скавронская, император 2 сентября 1800 года, по окончании маневров в Гатчине, вдруг объявил, что намерен присутствовать на обряде венчания князя и графини. Багратион был ошарашен, но все же, надо думать, доволен. А вот 17-летняя графиня, внучатая племянница Потемкина и наследница громадного отцовского состояния, была, говоря по-нынешнему, «в шоке». Но перечить императору не посмела – понимала, что тогда следующего жениха ей подыскали бы уже среди якутов.

(Дурную привычку устраивать чужое счастье на свой лад перенял у царственных особ и Наполеон. Зная о многолетней, еще с Итальянской кампании, влюбленности маршала Бертье в замужнюю маркизу Джузеппину де Висконти (невероятной, пишут, красоты!), Наполеон тем не менее в 1808 году женил маршала на принцессе Баварской Марии Елизавете Амалии Франсуазе. Шутка Наполеона была куда злее шутки Павла Первого: «невеста» Бертье была по тем временам глубоко немолода – 24 года! – да еще и не хороша собой. К тому же спустя совсем немного времени после этой свадьбы муж маркизы де Висконти умер. Бертье, впрочем, винил себя: «Если бы я был немного более постоянен, мадам Висконти была бы моей женой...», – сказал он Наполеону).

Если даже мужчины не принадлежали себе, то женщины и вовсе были почти предмет, разменная монета. Когда в январе 1798 года Федор Ростопчин, будущий московский военный губернатор, не поладил с «немецкой партией» императрицы Марии Федоровны и фаворитки императора Елизаветы Нелидовой, из-за чего Ростопчину пришлось уйти в отставку, для решения проблемы пришлось привлечь женщину. В союзе с обер-штабмейстером Иваном Кутайсовым (отцом будущего героя 1812 года генерала Александра Кутайсова) Ростопчин сумел сделать новой фавориткой (проще говоря – подложить в постель) императора «своего человека» – 17-летнюю Анну Лопухину. И уже в августе 1798 года Ростопчин был назначен вице-канцлером и получил титул графа (хотя и не слишком уважаемый среди русской знати).

В Европе масштаб женского влияния был иной – там женщины порой вершили судьбы континента. В июле 1794 года 19-летняя маркиза де Фонтене, предпочитавшая, впрочем, чтобы в это беспокойное время ее звали Тереза Кабаррю, отправила из парижской тюрьмы Лафорс записку. Марк Алданов приводит ее текст так: «Меня убивают завтра. Неужели вы трус?». В мемуарах барона Уврара (наполеоновский министр финансов) текст больше: «От меня только что ушел полицейский чиновник: он приходил, чтобы сообщить мне, что завтра я пойду на суд, то есть на эшафот. Это мало похоже на сон, который я видела этой ночью: Робеспьера больше нет, и тюрьмы открыты... Но из-за вашей беспримерной трусости во Франции нескоро найдется человек, способный воплотить его в явь». Адресат, 27-летний любовник Терезы Жан-Ламбер Тальен, до той поры в общем-то просто плыл по волнам революции, хоть и не на последних должностях. Но страшная записка заставила его пробиться к рулю.

27 июля (9 термидора) Тальен явился в Конвент и, увидев Робеспьера, начал говорить. Речь была такая, что взревело даже депутатское «болото». «Я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь!» – кричал Тальен. Он вдруг перевернул все и всех. Робеспьер был

низвергнут. Был ли это заговор политиков, или просто люди спасали свои жизни? Так или иначе, но взорвано все было одной искрой любви.

**Образованность женщин в России на переломе эпох (рубеж XVIII–XIX веков) была невелика. Жизнь женщины была предписана требованиями общества: рождение, взросление, замужество, рождение детей.**

Роли понятны (девочка, девушка, женщина, жена, мать, бабушка) и играют по общепринятым шаблонам, главный из которых послушание: сначала родителям, потом – мужу. Женщине отводились функции: украшать общество, рожать детей, помогать мужу «вести дом». Образованность здесь была скорее вредна, чем полезна.

Дочери дворян и знати в большинстве своем в лучшем случае умели читать, писать и считать. Наиболее основательно изучался французский – это был язык приличного общества. Другим «предметом» были манеры: барышень обучали поведению с кавалерами, поведению за столом, поддержанию беседы, как сесть, как встать, какими словами говорить со старшими и т. п. Все это в буквальном смысле разыгрывалось по ролям. Показательно, что Елизавета Янькова (урожденная Римская-Корсакова), московская дворянка, жившая на переломе эпох (1768–1861) в своих «Рассказах бабушки» говорит о современницах «она получила хорошее воспитание», а вот об образовании упоминает крайне нечасто (описывая свое детство, она не упоминает о привычных нам арифметике или русском языке, зато пишет, как отец выбрал ее с братом за то, что они посмели посмеяться над кем-то из гостей).

Интересно также, что Янькова в своих рассказах ни разу не упоминает, какие, например, она читала книги. Объяснение простое – она их не читала. Юрий Лотман в «Беседах о русской культуре» пишет: «Еще в 1770-е гг. на чтение книг, в особенности романов, часто смотрели как на занятие опасное и для женщины не совсем приличное. А.Е. Лабзину – уже замужнюю женщину (ей, правда, было неполных 15 лет!), отправляя жить в чужую семью, наставляли: «Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит мать твоя (имеется в виду свекровь. – Ю.Л.). И когда уж она тебе посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться».

Интересно, что упомянутая Лотманом Лабзина затем жила в семье поэта Хераскова и, слыша слово «роман», очень долго думала, что это имя какого-то молодого человека, удивляясь при этом, почему о нем говорят, а его самого нигде не видно.

В 1764 году в Санкт-Петербурге при Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре открылось «Воспитательное общество благородных девиц», ставшее впоследствии Смольным институтом. Хотя предметы изучались несложные (словесность, история, география, иностранные языки, музыка, танцы, рисование, светские манеры), но курс обучения растягивался на 12 лет. Из этого ясно, что Смольный был придуман Екатериной не столько для образования, сколько опять же для воспитания некоей женской элиты – прежде всего за счет строгой изоляции от мира и от среды. Девушек воспитывали примерно по той же системе, по какой Екатерина делала из Александра государя, разве что отнимали у родителей не сразу после рождения, а в пять-шесть-семь-восемь лет. «В то время в институтах барышень держали только что не назаперти и так строго, что, вышедши оттуда, они были всегда престранные, презастенчивые и все было им в диковинку, потому что ничего не видывали...», – рассказывала Елизавета Янькова. В том же духе высказывается и мемуарист Николай Греч: «Воспитанницы первых выпусков Смольного монастыря, набитые ученостью, вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например: где то дерево, на котором растет белый хлеб?».

Однако само государство было устроено так, что последующая жизнь женской элиты мало чем отличалась от жизни просто женщин. Глафира Алымова, «смолянка» первого набора, которую сама Екатерина звала «Алимушка», окончившая институт первой (тогда

тоже были некие «рейтинги») и получившая кроме золотой медали еще и золотой вензель императрицы, зачисленная во фрейлины, оказалась втянутой в историю соперничества между стариком-поклонником и молодым мужем – попасть в такой переплет она могла и без Смольного.

В Алымову влюбился куратор Смольного института Иван Бецкой, которому тогда было за семьдесят. Возможно, стесняясь своей страсти, он хотел, чтобы вместо нее все вокруг видели нечто иное. «Он перед светом удочерил меня», – писала потом в воспоминаниях Алымова. После выпуска Бецкой увез Алымову в свой дом, но так и не решился стать ее мужем, хотя, несмотря на «удочерение», ничто не мешало ему просить у матери руки Глафиры. Почему граф не делал этого? Возможно, он, встретив редкий цветок, внушил себе слишком большую осторожность в обращении с ним. Может, он ждал от Глафиры какого-то первого шага, хоть какого-то изъяснения чувств, но девушка по чистоте и наивности – вспомните слова Янковой о «презастенчивых» институтках, которые «ничего не видывали» – сама не догадывалась об этом, а никто не подсказал. «Никто не смел открыть мне его намерений, а они были так ясны, что когда я припоминаю его поведение, то удивляюсь своей глупости, – писала потом Алымова. – Несчастный старец, душа моя принадлежала тебе; одно слово, и я была бы твоею на всю жизнь».

Пока Бецкой трясся над цветком, его сорвали другие: пишут, что цесаревич Павел Петрович был удачливее старика и будто бы именно из-за этого отношения Алымовой и жены Павла, великой княгини Марии Федоровны, к которой Алымова была назначена компаньонкой, расстроились. В 1777 году Глафира Алымова вышла замуж за Алексея Ржевского, который был старше ее на 20 лет. Екатерина благословила «Алимушку» на этот брак, так что Бецкой не в силах был его расстроить, однако буквально до самого последнего момента подбивал саму Алымову на разрыв со Ржевским: «Перед алтарем, будучи посаженным отцом, он представлял мне примеры замужеств, расхлывшихся во время самого обряда венчания, и подстрекал меня поступить таким же образом», – пишет Алымова. После венчания Ржевские уехали жить в Москву, а Бецкого разбил паралич (он однако прожил еще до 1799 года). При Павле Ржевские попали в опалу, жили, делая долги. Ржевский умер. Воцарение Александра спасло Алымову, как многих. Второй ее брак был таков, что даже сегодня можно писать роман или снимать фильм: в 40 лет вышла замуж за 20-летнего учителя французского языка из Савойи, да еще и выхлопотала ему у императора дворянство, а потом камергерский чин и хорошую должность по министерству иностранных дел.

При всем том Алымова, и правда, была неким образцом: когда Радищева отправили в Сибирь, она помогала ему посылками и заботилась о детях Радищева, хотя и своих у нее было шестеро (пятеро – от Ржевского и приемная дочь Варвара Зыбина). Впрочем, это опять-таки плоды воспитания, а не образования: в те времена учителя чаще будили душу и сердце, чем ум. Результаты могли быть разные: однокашница Алымовой по первому выпуску смолянок княжна Евдокия Вяземская, казалось, самым происхождением предназначенная для света, придворного блеска и игры людьми, пожалованная во фрейлины, водившая знакомство с Александром Суворовым и князем Юрием Долгоруким, вдруг бежала от двора, инсценировав свою гибель в реке.

Пишут, будто ей прискучила «сонная и однообразная жизнь при дворе». На нынешний обывательский взгляд в новой ее жизни разнообразие было на любителя: после долгих скитаний по монастырям и храмам Руси в 1806 году, когда Вяземской было около 50 лет, она в Москве пришла к митрополиту Платону и рассказала ему свою историю. Митрополит, выслушав ее, благословил на подвиг юродства и под именем «дуры Евфросиньи» (в монахини она так и не постриглась) отправил в Серпуховский Владычный монастырь. Там она жила в маленькой избушке, ее одиночество скрашивали только куры, кошки, собаки, жившие в той же хате. Крепкий дух от всего этого семейства (Евфросинья никогда не прибира-

лась в доме, не выметала даже остатки пищи) удивлял даже монахинь, которым Евфросинья поясняла, что «запах этот мне приятен, он заменяет духи, которыми я пользовалась при дворе». Спала она на полу вместе с животинной, говоря: «Я хуже собак». Даже зимой ходила босиком. Чтобы испытать себя покрепче, она топила печь летом, в жару, а зимой, в мороз, жила в холоде.

Биографы пишут, что в 1812 году в этих краях появились французы. Добравшись до жилища Евфросиньи, они стали смеяться над ней – над одеждой, над запахом, над домом. Каково же было их потрясение, когда едва похожее на женщину существо (Евфросинья коротко стриглась, а одевалась в разную ветошь) отвечало им на чистом французском языке!

В 1845 году, не поладив с новой настоятельницей монастыря, Евфросинья перебралась в село Колюпаново (в нынешней Тульской области). Почитавшая старицу местная помещица Наталья Протопопова построила для нее домик, но Евфросинья в дом загнала свою корову, а жить стала в помещении для дворни. В другом построенном для нее доме, при Мышегском чугунолитейном заводе, из всей «мебели» старица Евфросинья держала один только гроб – в нем она отдыхала. В глубокой старости открылся у нее целительский дар, причем, спасала она не только отдельных людей – будто бы именно благодаря ее молитвам холера, бушевавшая вокруг в 1848 году, обошла Колюпаново стороной.

Когда Евфросинье было за девяносто, она своими руками вырыла колодец, а над ним устроили купальню: «она велела больным купаться в той купальне, и больные исцелялись», – пишет Анастасия Цветаева, почитавшая блаженную Евфросинью.

3 июля 1855 года Евфросинья умерла. За три недели до этого она увидела во сне ангелов, сказавших: «Евфросиньюшка, пора тебе к нам...». Узнав об этом, люди шли к Евфросинье прощаться со всей округи. Похоронили ее в Казанской церкви села Колюпаново, в монашеском, как она завещала, одеянии, не полагавшемся ей при жизни. За что она так наказывала себя? Это так и осталось тайной. А может, и не наказывала вовсе? Возможно, княжна Евдокия Вяземская, уйдя из мира, пыталась если не стать самой себе хозяйкой, то хотя бы получить над собой только одного хозяина – Бога.

## 10

**Но менявшийся мир менял и женщин: если для большинства современниц родившейся в 1765 году Елизаветы Яньковой «чувствительная» сторона жизни не существовала (описывая, как к ней сватался будущий ее муж, Янькова говорит: «не то чтоб я в него была влюблена», прибавляя «как это срамницы-барышни теперь говорят»), то уже следующее поколение только чувствами и жило.**

«Срамницы-барышни» – это дочери сентиментализма, занесенного в Россию в конце XVIII века с переводными книгами из Европы. С него началась гибель привычного Яньковой и ее подругам мира – Наполеон стал лишь одним из знаков этой гибели.

Нельзя сказать, чтобы Россия сопротивлялась новой моде. Первым из русских ее разглядел Николай Карамзин, написавший в 1797–1801 годах «Письма русского путешественника», которые, если бы выкинуть из них лирические отступления и всхлипы вроде: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!» и т. п., были бы втрое короче. Но именно ради всхлипов «Письма» и были написаны: «а кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию», – такую отповедь поместил Карамзин в предисловии ко второму изданию.

Родившийся в литературе сентиментализм затем овладел всей жизнью человека, он определял образ мысли, манеры поведения и даже внешний облик людей того времени и прежде всего женщин (мужчины в большинстве своем служили в армии, а быть сентиментальным кирасиром нелегко, хотя, например, пишут, что маршал Ней любил играть на флейте разные трогательные вещи). Так как положено было жить чувствами, а вид иметь меланхолический и томный (проще говоря – больной), то барышни прятались от солнца и ели так мало, что в обмороки падали, не прикладывая к этому каких-то специальных усилий. Плакать положено было от любой мелочи. В литературе и театре сентиментализм означал минимум действия при максимуме переживаний: героини размышляют, терзаются, изводят себя и публику предположениями и предчувствиями. Таковы все героини Карамзина, да и в «Сожженной Москве» Данилевского, а тем более в «Рославлеве» Загоскина главные героини терзаются в лучших традициях Вертера. Сентиментализм был во многом эпохой чувств и слов, а вторгшийся в нее Наполеон провозгласил эпоху дел, и уже этим был для людей своего времени и чужим, и одновременно притягательным – как Кинг-Конг.

Пишут, что одним из свершений революции было то, что она сбросила с женщин оковы корсета. Вернее было бы сказать, что революция почти сбросила с женщин одежду. В Париже, которому подражала вся Европа, женщины в наполеоновские времена носили шмиз – легкое платье с большим декольте и поясом под грудью. В этом тоже была революция: при «старом строе» дамы нещадно затягивались в корсеты, сооружавшиеся из кожаных и металлических пластин, китового уса и дерева. В корсете дама была как в панцире. Можно только попытаться представить разницу ощущений: ведь шмиз шился из легких полупрозрачных тканей (белые батист и муслин, перкаль, газ, креп), вес его составлял всего лишь 200–300 граммов. Поначалу из соображений пристойности под шмиз одевали розовое трико. Однако скоро французские дамы стали пренебрегать трико, оставаясь под платьем совсем голыми. (Жозефина Богарне для пущего эффекта опрыскивала свои платья водой – чтобы ткань липла к телу).

Так как шмиз больше всего напоминал ночную рубашку, парижане в те времена говорили: «Нашим дамам достаточно одной рубашки, чтобы быть одетыми по моде». Эта мода называлась «нагой». (Интересно, что нынешняя мода – топики, открывающие живот и грудь,

называется «порно-шик»). Русский писатель Коцебу, побывавший в Париже в 1804 году, писал: «Туалеты, которые сейчас здесь считаются сдержанными и элегантными, сто лет тому назад не разрешались даже женщинам легкого поведения».

Правда, легкие одеяния даже в европейском климате приводили к простудам и чахотке – одна парижская газета советовала тем, кто желает встретиться с модницами, посетить кладбище Пер-Лашез. (Ситуацию спасали кашемировые шали. Моду на них ввела императрица Жозефина – ей шали были присланы Бонапартом в подарок из Египта).

Юрий Лотман пишет, что императрица Мария Федоровна на ужин, после которого император Павел был убит, пришла «в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи – дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца Павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной». Возможно, Лотман переоценивает событие: на картине фон Когельгена, изображающей Павла со всем его семейством, женская часть одета как раз в шмизы, из чего можно заключить, что по крайней мере внутри семьи это одеяние скандалов не вызывало.

Потом оно и вовсе прижилось. В первых же сценах «Войны и мира» (июль 1805 года) маленькая княгиня Лиза Болконская на вечере у Анны Павловны Шерер показывает всем «свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой», а Элен Курагина на этом же вечере проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины» – в обоих случаях это тоже шмиз, разве что по особенности климата сшитый скорее всего из тканей поплотнее. (Надо признать, что либо сам Толстой отлично разбирался в женской моде, хоть и отдаленной от него на полвека, либо у него были неплохие консультанты).

## 11

Пуританскими те времена могут считаться по глубокому незнанию и с большой натяжкой. Ту же Екатерину Багратион в Европе звали «*chatte blanche*» («белой кошкой») – за безграничную чувственность (а за ее платья – «*Le bel ange nu*» – «обнаженный ангел»).

В 1805 году она уехала за границу и с мужем своим не встречалась больше никогда! Так, надо понимать, она высказала свое отношение к этому браку. И Павел, и затем Александр смотрели на это сквозь пальцы – лишь бы внешние приличия были соблюдены. Видимо, из этих соображений Александр настоял, чтобы дочь Екатерины, рожденная ею от австрийского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха и без особой конспирации названная Клементиной, была записана в роду Багратионов. (Хотя вполне возможно, что Александр просто от души потешался над ситуацией, в которую попал герой-генерал).

Однако при желании и над Александром мог бы посмеяться любой, кто имел на это достаточно мужества: в 1799 году его жена, великая княгиня Елизавета, родила девочку с черными волосами – это, мягко говоря, необычно, если учесть, что и Елизавета, и Александр были блондинами. Павел, увидев «внучку», спросил статс-даму Ливен, как же так вышло, на что статс-дама ответила: «Государь, Бог всемогущ!». Находчивость не помогла: Павел, как и все убежденный, что ребенок – плод романа Елизаветы с князем Чарторыйским, отправил последнего послом к Сардинскому королю – назначение малопочетное вообще, тем более напоминало ссылку, что король тогда скитался по Европе, лишенный республиканцами-французами своего королевства. А девочка через год умерла...

Незаконнорожденные дети знати – это было целое явление в ту эпоху, не зря и Толстой ввел в «Войну и мир» бастарда – Пьера Безухова. Вольная жизнь и отсутствие действенной контрацепции создавали в дворянской среде немало казусов – например, вдруг беременели давно не видевшие мужей женщины (та же княгиня Багратион). Попавшие в интересное положение дамы уезжали рожать за границу, а вернувшись в Россию, объясняли наличие младенца по-всякому. Внучка Кутузова Екатерина Тизенгаузен (ее отец послужил Толстому прототипом в сцене, когда князь Андрей со знаменем в руках увлекает за собой солдат при Аустерлице – правда, Федор (Фердинанд) Тизенгаузен при этом был убит) в 1825 году вернулась из-за границы с мальчиком Феликсом. Она говорила, что мальчика будто бы передали ей на воспитание, но в свете полагали, что мальчик – ее сын от принца Фридриха Вильгельма Людвига Прусского (потом – король Фридрих Вильгельм Четвертый), который к тому времени уже два года как был женат на баварской принцессе Елизавете Людовике.

Косвенных подтверждений тому немало: например, крестным отцом мальчика стал император Николай Первый, давший ему от себя отчество Николаевич. Фамилия Эльстон также была присвоена царским указом. Есть ее комическое объяснение – будто бы о незамужних женщинах, которые вдруг ни с того ни с сего родили ребенка, тогда говорили по-французски «*elle s'etonne*» – «она удивилась». Если это так, то царь, делая эти слова фамилией, потешался от души.

Интересно, что от следующего императора, Александра Второго, Феликс Николаевич получил еще одну фамилию – Сумароков: тесть Феликса Николаевича Сергей Сумароков сыновей не имел, но царь решил, что столь знатный род не должен пресечься.

Один из организаторов убийства Распутина – князь Феликс Юсупов. Несмотря на фамилию, он внук Феликса Сумарокова-Эльстона, а Юсуповым стал, женившись: в роду Юсуповых не было сыновей, и, дабы 400-летний род не пропал, царь разрешил Феликсу Феликсовичу именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном. (Кроме древности рода, Юсуповы были еще несметно богаты: упоминаемый Яньковой Николай

Юсупов не помнил на память все свои имения и при надобности сверялся по специальной книжке, «в которой по губерниям и уездам записаны были все его имения»). Впрочем то, что убийца Распутина прямой потомок толстовского персонажа – факт довольно известный: по поводу того, как причудливо тасуется колода, есть работа немецкой исследовательницы Нормы Манн «Похищенная смерть». Тизенгаузенами Норма Манн, как и некоторые другие, заинтересовалась через Пушкина: поэт ухаживал за дочерью Фердинанда Дарьей (и даже удачно – описывая в «Пиковой даме», как Герман крадется в спальню к Лизе, Пушкин излагает свои приключения по пути к спальне Дарьи Тизенгаузен, причем в отличие от Германа Пушкин из спальни ушел только под утро). При этом еще и мать Дарьи, Елизавета, дочь Кутузова, будто бы не только дружила с Пушкиным, но и надеялась, несмотря на возраст, на нечто большее.

Иногда незаконнорожденным «на память» давали обрывки законных фамилий: так сын Ивана Трубецкого стал Бецким (уже упомянутый ранее куратор Смольного института). Чаще же родители проявляли фантазию: так, художник Орест Кипренский (сын помещика Дьяконова от крепостной крестьянки) имя Орест получил в честь одного из героев «Илиады», а фамилию Кипренский (изначально – Кипрейский) в честь богини Киприды (еще одно имя греческой богини любви Афродиты). Кипренский оставил множество портретов героев 1812 года, в том числе – портрет Евграфа Давыдова, который долгие годы считался портретом героя-партизана Дениса Давыдова, при том что Евграф и Денис двоюродные братья. (Евграф почти забыт историей и напрасно: в сражении при Лейпциге он потерял ногу и руку, получил Георгия третьей степени и чин генерал-майора, с чем и ушел в отставку. Умер в 48 лет).

Поэт Василий Жуковский был незаконнорожденным отпрыском помещика Афанасия Бунина от пленной турчанки (имя ее было Сальха, а после крещения – Елизавета Турчанинова). Фамилию и отчество будущий автор поэмы «Певец во стане русских воинов» получил от крестного, помещика Андрея Жуковского, который мальчика усыновил. Вторая жена историографа Николая Карамзина была незаконной дочерью Ивана Вяземского от графини Сиверс и приходилась знаменитому поэту Петру Вяземскому сводной сестрой. После рождения она получила фамилию Колыванова по названию города, где родилась (Колывань было старое русское название Ревеля, ныне Таллина). Любимец царя Александра Николай Новосильцев (Новосильцов) был внебрачным сыном сестры графа Александра Строганова. Василий Перовский, в 1812 году колонновожатый свиты Его Величества, попавший в плен в Москве и чудом оставшийся в живых при отступлении французов (его судьба описана в романе Данилевского «Сожженная Москва»), был одним из семи внебрачных детей графа Алексея Разумовского от Марии Соболевской, дочери графского берейтора. Граф деликатно называл своих побочных детей «воспитанниками». Еще одним из них был Алексей Алексеевич (будущий писатель Антоний Погорельский, автор знаменитой страшной сказки «Черная курица, или Подземные жители», написанной в духе Гофмана, с которым Перовский-Погорельский был хорошо знаком лично), в 1812 году вступивший в казачий полк и отличившийся при Лейпциге и Кульме. Он будто бы имел связь с собственной сестрой Анной, в результате чего у них родился сын (будущий писатель Алексей Толстой), в обществе считавшийся племянником Алексея Перовского. (Из этого же рода произошла через поколение Софья Перовская, террористка, повешенная за покушение на Александра Второго).

Участник наполеоновских войн Алексей Орлов был незаконным сыном Федора Орлова, одного из тех братьев, которые возвели на престол Екатерину. Сыну тоже довелось участвовать в перевороте: он командовал кавалерией, которая атаковала на Сенатской площади мятежников. В награду за верность Николай пожаловал Орлову титул графа, и самое главное – помиловал его брата Михаила, считавшегося одним из организаторов восстания и заслуживавшего по мнению царя шестой петли на кронверке Петропавловской крепости. (Это было уже второе чудесное спасение Михаила от верной смерти – в первый раз ему

повезло в бою при Аустерлице, где он, эстандарт-юнкер Кавалергардского полка, участвовал в атаке, после которой в живых остался только один из десяти).

## 12

**Из русских царей и цариц были те, чье происхождение вызывало толки. Достаточно известна версия, что Павел Первый на самом деле рожден Екатериной не от императора Петра Третьего, а от графа Сергея Салтыкова.**

Император Александр Третий, узнав эту легенду, будто бы сказал: «Слава Богу, мы – русские!» (однако, выслушав аргументы против, царь с не меньшей радостью сказал: «Слава Богу, мы – законные!»). Однако мемуарист Николай Греч приводит рассказ, согласно которому и сама Екатерина могла считаться немкой с большой натяжкой: будущая российская императрица родилась после близкого знакомства ее матери в Париже с Иваном Бецким, незаконнорожденным сыном князя Трубецкого. «Связь Бецкого с княгиней Ангальт-Цербстской была всем известна, – пишет Греч. – Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом».

За русскими царями и царицами также тянется шлейф бастардов. Первый из графского рода Бобринских, рожденный в 1762 году Алексей, был сыном Екатерины Второй и Григория Орлова, от которого получил отчество. Мальчишку передавали от одного придворного к другому, фамилию свою он получил по названию села Бобрики, выкупленного Екатериной ему для прокормления. Интересно, что взошедший на престол Павел отнесся к Бобринскому как к брату: жаловал титул графа и подарил огромный дом в Петербурге. Но самому Бобринскому столица была уже не мила – он уехал в свое имение в Тульской губернии. Бобринские – из тех редких людей, кто остался в истории России не военными подвигами: Алексей Алексеевич (сын основателя рода) развел в России сахарную свеклу и построил первый свеклосахарный завод.

Если из Бобринских никто в наполеоновскую эпоху себя не проявил (основатель рода был слишком стар, а его дети, напротив, еще чересчур юны), то уже первенец цесаревича Павла стал героем Отечественной войны.

В 1768 году к князю Юрию Трубецкому привезли мальчика-младенца и попросили дать ему лучшее воспитание и образование, не беспокоясь о затратах. Мальчик получил имя Иван, отчество Никитич, фамилию Инзов. Других Инзовых среди русского дворянства не было. Толковали, будто фамилия происходит от слов «иначе» и «знать», но даже если это так, то трудно понять, что она означает (тогда уж скорее «иначе зовут»). В 17 лет он получил от самой императрицы Екатерины деньги, достаточные для поступления в полк. Легенда, опираясь на безусловное сходство, гласила, что отец Инзова – император Павел, который, правда, даже после вступления на престол никак Инзова особо не отличал (даже генерал-майором Инзов стал только при Александре, в 1804 году). В год рождения Инзова Павлу было 14 лет – по тогдашним меркам он уже вполне годился, чтобы проверить с кем-то свою способность к зачатию детей. Воевать с французами Инзов начал еще в 1799 году, пройдя в армии Суворова Италию и совершив Швейцарский поход. В 1812 году он был в армии Тормасова и возможность отличиться появилась лишь при отступлении французов из России.

Дослужился Инзов до полного генерала, но главную свою славу среди людей Инзов добыл не военными подвигами, а добрыми делами: став в 1818 году главой Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края России, он выхлопотал переселенцам из Болгарии права и привилегии (личную свободу и свободу вероисповедания, участки казенной земли в 60 десятин на семью, освобождение от уплаты налогов на 10 лет, от военной и гражданской службы, право торговать, строить фабрики и др.), создал органы управления, которые сейчас назвали бы демократическими. Так, все вопросы внутренней жизни,

вплоть до разбора судебных дел колоний решало собрание колонистов (громада). Он создавал школы. Старался, чтобы чиновники вырастали из числа колонистов. В неурожайные годы поддерживал колонистов казенными деньгами. Во всем этом был большой государственный смысл: отошедшие к России в результате русско-турецкой войны 1806–1812 годов земли (Новороссия и Бессарабия) нужно было во всех смыслах «приживить» к империи. Инзов, несмотря на солидную разницу в возрасте, сдружился с сосланным на юг Пушкиным, поселил у себя и часто выгораживал поэта после его проказ. Наказывал поэта Инзов с фантазией – отбирал сапоги, чтобы Пушкин не мог выйти на улицу и набедокурить.

Колонисты почитали Инзова и звали его «дядо». Старый генерал велел похоронить его в Болграде (город на Украине). Когда в 1845 году Иван Инзов умер в Одессе, люди на руках несли его гроб в Болград – больше чем за 250 километров. Спустя почти полтора столетия пораженный этим советский поэт Феликс Чуев (автор книги «140 бесед с Молотовым») написал о генерале стихотворение «Попечитель»: «Наместник бессарабский В покое от боев Спасал от доли рабской Монахов, батраков. Простой и неспесивый Герой большой войны – Мы все ему «спасибо» За Пушкина должны...». Интересно, знал ли Герой Социалистического Труда Чуев, что, возможно, пишет про царского сына?

## 13

**Все спали со всеми. Вольные нравы того времени были некой отдушной – на территории любви все были равны. В соревновании за женское сердце знатность и титул роли не играли.**

Когда Александр был еще великим князем и наследником, у него вышла история: влюбившись в княгиню Марью Антоновну Нарышкину (урожденная княжна Святополк-Четвертинская), он вдруг выяснил, что знаки внимания ей оказывает и Платон Зубов! Заключили пари: на чьи ухаживания Нарышкина ответит раньше, тот и победил. Или будущий царь ухаживал как-то не так, или красавица решила его «помариновать», но через некоторое время Зубов предъявил Александру записки, полученные от объекта пари. Александр отступился – правда, на время.

Александр вообще вряд ли был счастлив в личной жизни. Выросший под руководством бабки, он привык подчиняться женщине, а это не лучший навык для мужчины, а тем более – для монарха. Когда в 1793 году его, 16-летнего, и 14-летнюю Елизавету венчали в храме, то еще неизвестно, кого выдавали замуж – может быть, обоих.

На портретах Елизавета (баденская принцесса Луиза-Мария-Августа) удивительно хороша – даже не понятно, чего же искал Александр на стороне. Впрочем, в мемуарах пишут, будто императрица Мария Федоровна, жена Павла, упрекала невестку в холодности, из-за которой Александр будто бы и стал заглядываться на других. При этом, судя по всему, Александр был из тех мужчин, которых нужно прибрать к рукам – тогда они чувствуют себя комфортно. Нарышкина, похоже, так и поступила: насытившись Платоном Зубовым, а, может, и зная от него о заговоре против Павла, который должен был возвести на престол Александра, она сделалась любовницей будущего царя.

Пишут, что она хотела из вторых супруг перейти в первые и даже подбивала царя на развод. Однако Александр на это не пошел. В виде уступки он жил с Елизаветой раздельно (в те времена церковное расторжение брака было крайне сложным делом, и раздельное проживание являлось почти общепринятой формой развода).

Графиня Прасковья Фредро в силу происхождения (ее отец граф Николай Головин был при «малом» дворе великого князя Александра гоф-маршалом, а мать Варвара Головина входила в ближайшее окружение великой княгини Елизаветы) о многом знавшая из первых рук писала в «Воспоминаниях»: «В первый же год связи императора Александра с г-жой Нарышкиной, еще прежде восшествия на престол, он пообещал ей навсегда прекратить супружеские отношения с императрицей, которая должна была остаться его женой только формально. Он долгое время держал слово и вскоре после коронации движимый одним из тех бескорыстных порывов, что были отличительной чертой его характера, даже решил принести жертву во имя своей любви. Он задумал отречься от престола, посвятил в свои планы юную императрицу, князя Чарторыйского и г-жу Нарышкину, и было единогласно решено, что они вчетвером уедут в Америку Там состоятся два развода, после чего император станет мужем г-жи Н. (арышкиной), а князь Адам – мужем императрицы. Уже были готовы корабль и деньги и предполагалось, что корона перейдет маленькому великому князю Николаю при регентше императрице Марии».

Надо полагать, Александр и все прочие участники этого заговора начитались романов, от чего их поступок – отречение, побег, океан, Америка! – казался им очень даже в духе времени. Примечательно, что больше всего здравого смысла оказалось у князя Адама Чарторыйского, который «почувствовал угрызения совести и привел императору доводы рассудка. Ему удалось его убедить, все осталось по-прежнему, и по меньшей мере несколько лет империя наслаждалась покоем». Империя – может быть, а вот император – вряд ли.

«Подкаблучничество» Александра зашло так далеко, что, когда в 1806 году стало известно о беременности императрицы Елизаветы (императрица соблазнилась кавалергардом Алексеем Охотниковым и родила от него дочь в ноябре 1807 года), Александру пришлось выдержать целую баталию. «Г-жа Нарышкина пришла в ярость, – пишет Прасковья Фредро. – Она требовала от императора верности, на которую сама была не способна, и с горечью осыпала его упреками, на что он имел слабость ответить, что не имеет никакого отношения к беременности своей жены, но хочет избежать скандала и признать ребенка своим. Г-жа Нарышкина поспешила передать другим эти жалкие слова».

Мужу ее, обер-егермейстеру Дмитрию Нарышкину, было при начале связи Марии с Александром 46 лет. По традиции времени, он уступил (так, когда леди Эмма Гамильтон стала любовницей адмирала Нельсона, ее муж говорил в обществе: «Лучше иметь 50 процентов в хорошем деле, чем 100 процентов – в плохом»). Можно вспомнить и графа Валевского, который едва ли не сам привез Наполеону свою молодую жену Марию). Из шести записанных Нарышкиными детей князь признавал своим только первого ребенка – рожденную в 1798 году дочь Марину. Еще трое дочерей умерли почти сразу после рождения, одна, Софья, прожила до 16 лет, а вот младший из детей и единственный мальчик, Эммануил, увидел XX век – он дожил до 1901 года. Этих пятерых тогдашнее общество приписывало Александру, впрочем, не совсем уверенно – Мария Антоновна не стеснялась изменять своему августейшему любовнику едва ли не у него на глазах (это, кстати, иллюстрация к вопросу, кто в их союзе был главным).

Союз и кончился потому, что Александр застал Марию Антоновну в постели со своим генерал-адъютантом Адамом Ожаровским. Михайловский-Данилевский так описывал этот любовный треугольник: «Государь приблизил к себе сего последнего после Фридландского сражения, в котором убили брата его (Козьма Ожаровский, полковник Лейб-гвардии Конного полка – *прим. С.Т.*): императора тогда уверили, что Ожаровский в сем брате имел искреннейшего друга, а потому Государь, чтобы утешить его в сей потере, осыпал его милостями. Граф Ожаровский заплатил за сие неблагодарностию, заведя любовную связь с Нарышкиною. Государь, заметя оную, начал упрекать неверную, но сия с хитростию, свойственною распутным женщинам, умела оправдаться и уверить, что связь ее с Ожаровским была непорочная, и что она принимала его ласковее других, потому что он поляк и следственно ее соотечественник, и что она находится в самых дружеских отношениях к его матери. Вскоре однако же измена обнаружилась, ибо по прошествии малого времени Государь застал Ожаровского в спальной своей любезной и в таком положении, что не подлежало сомнению, что он не был щастливым его соперником».

Удивительно, но Ожаровскому это в общем-то сошло с рук и он даже имел наглость (Данилевский пишет «имел дух») не покинуть двора. Фаворитка получила отставку, а вот Ожаровский – нет: из этого заключали, что Ожаровский соблазнил Нарышкину по указанию императора, дабы дать тому повод для разрыва. Было это в 1815 году – только победив Наполеона, Александр почувствовал в себе достаточно сил, чтобы справиться с любовницей.

## 14

**Настоящая любовь в те времена для одних была непоозволенной роскошью, для других – излишеством. Известно, что браки устраивались родителями – девушки о некоторых сватах, которым родители отказали, узнавали только спустя несколько лет или не узнавали вообще.**

Родители устраивали будущее своих детей не только по причине заведомо большей житейской мудрости, но еще и потому что у потенциальных женихов уж точно не было времени на ухаживания. Мужской век был короток – в разгар эпохи редко кто доживал до тридцати, надо было успеть «нажиться», хлебнуть удовольствий полной чашей за этот короткий срок. Молодые мужчины просто не успевали достаточно повзрослеть для любви как для чувства. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Чичерин в своем дневнике 1812 года совершенно не пишет о любви, упомянутый же им трогательный «платочек Марии» – это подарок сестры.

Впрочем, есть у Чичерина и про любовь, но – к Отечеству. О женщинах он вспоминает «в общем» («Как же нам жить вдали от вас, кого мы, неблагодарные невежи, называем слабым полом? Ведь вы придаете очарование нашей жизни, украшаете всякое собрание и освящаете все радости сердца и духа. Я живу и буду жить в надежде когда-нибудь припасть к вашим стопам и молить о сладостных оковах»). Хотя есть обращение и к конкретному человеку: в записи от 19 сентября Чичерин упоминает Наталью Апраксину, 18-летнюю сестру своего товарища: «Когда, например, я переносюсь мыслью к вам, очаровательная А..., разве могут самые роскошные палаты сравниться с прелестью вашего будуара? И разве меняются мои чувства от того, моя ли палатка или какой-нибудь дворец превращаются пред моим мысленным взором в это святилище граций? Облако, нисходящее на меня от твоего небесного образа, скрывает все окружающее: я возле тебя, я вижу тебя, говорю с тобою...». Похоже, даже перед самим собой (на страницах дневника!) Чичерин постеснялся незнакомых и непонятных для него чувств – возможно, он даже не понял, что это нахлынуло на него, а спросить было некого.

К тому же принято было жить страстями – такой стиль диктовала литература. (Интересно вспомнить «Войну и мир»: Наташа Ростова в 13 лет клянется в любви Борису Друбецкому, повзрослев, становится невестой князя Андрея, потом почти сбегает из дома с Анатоном Курагиным, и совершенно неожиданно обретает с Пьером счастье мамочки-наседки).

В романе «Рославлев» главного героя, узнавшего, что его возлюбленная вышла замуж за пленного француза, сваливает горячка. Романы велели страдать и переживать – и даже взрослые мужчины, боевые офицеры, переживали и плакали.

Женщины часто и быстро вдовели и столь же быстро утешались в новом браке. Слушай «лебединой верности» были так редки, что сами собой превращались в легенды. Зимой 1812 года, после отступления французов из Москвы, на Бородинское поле приехала Маргарита Тучкова, молодая жена генерала. Она искала его несколько суток, днем и ночью бродя среди бесчисленных мертвецов. Ужас этого поиска, пожалуй, трудно вообразить. Известно, что всех покойников еще осенью догола раздели окрестные крестьяне. Один из французов, шедших мимо Бородинского поля в ноябре, записал, что издали было похоже, будто поле покрыто стадами овец. Мужа Маргарита не нашла. Тогда, раз похоронить его по православному обычаю невозможно, решила построить на месте смерти церковь. Продала свои драгоценности, 10 тысяч рублей пожертвовал на это царь Александр. Чтобы присматривать за стройкой, Тучкова с сыном поселилась на Бородинском поле в небольшом домике. В 1820 году была освящена церковь в честь Спаса Нерукотворного, икону которого подарил Маргарите Тучковой муж при последнем расставании.

Судьба не пожалела Маргариту Тучкову: в 1826 году за участие в деле декабристов был сослан в Сибирь брат Михаил, потом умерла их мать, а следом от скарлатины умер 15-летний сын Николай. Маргарита привезла тело мальчика на Бородинское поле и похоронила в склепе Спасской церкви – поближе к отцу. Мучительная жизнь меж родных могил продолжалась несколько лет. Однако затем после разговора с митрополитом Филаретом Тучкова увидела в жизни новый смысл: сначала она собрала вокруг церкви вдовью общину, которая в 1833 году стала Спасо-Бородинским общежитием, а затем – монастырем, в котором Маргарита Тучкова, постригшаяся в монахини под именем Мария, стала настоятельницей. Умерла она в 1852 году.

## **СМЫСЛ ЖИЗНИ**

*Служба. Бог, Честь. Присяга. Слава. Награды.*



# 1

**Дворяне в России, вопреки распространенному ныне заблуждению о беззаботности их жизни, имели не только права, но и обязанности, главной из которых была служба. До 1762 года она была 25-летней и обязательной для всех дворян.**

Петр Третий указом «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» отменил срок и обязательность, а Екатерина, свергнув Петра, в своей «Жалованной грамоте дворянству» от 21 апреля 1785 года подтвердила эти, крайне важные для благородного сословия, пункты. Нетрудно понять источники нелюбви дворян к Павлу Первому, который вновь сделал службу обязательной. Показательно, что первыми словами Александра при воцарении были «при мне все будет как при бабушке» – и все отлично поняли, о чем идет речь.

При Александре, и правда, все стало как при бабушке: дворян опять записывали в полк с рождения, дворянин мог уйти в отставку по достижении первого офицерского чина, а мог выхлопотать себе отпуск, тянувшийся иногда несколько лет. Некоторые так и делали. Однако служба, особенно военная, была заманчива: она давала возможность возвыситься и этим поправить дела, на что при гражданской службе шансов было крайне мало, а при обычной жизни помещика – и вовсе ни одного.

Иван Бутовский в книге воспоминаний «Первая война Александра Первого с Наполеоном Первым. 1805 год» писал: «С небольшим через год после воцарения Александра обнародован указ: «что русский дворянин, первоначально не служивший в военной службе, не может быть принят к статским делам». Содержание указа, ясно определявшее прямую обязанность дворянина, вступающего на поприще служения, еще более побудило меня переменить род службы. Хотя я уже состоял в чине коллежского регистратора, однако считал позволительным, вопреки запрещению моей матери, променять перо на шпагу. Чтобы скорее отделаться от чернил и аргуса, я не долго медлил и, написав на Высочайшее имя прошение, явился к военному губернатору Торماسову. При выходе Торماسова к просителям, наружность моя и лета обратили его внимание; он прямо подошел ко мне и я подал ему просьбу; пробежав ее с улыбкой, он спросил меня: «Ты желаешь, голубчик, служить под ружьем? – Точно так! – Да знаешь ли ты, что не иначе будешь принят как подпрапорщиком: ты теряешь статский чин (переходящий из статской службы в военную терял один чин – прим. С.Т.) – Знаю, – отвечал я, – но я готов служить даже рядовым!». Военный губернатор взглянул на приблизившегося к нам генерала, Дмитрия Сергеевича Дохтурова, и, взяв меня за подбородок, сказал: «Поздравляю, вы приняты». Дохтуров тут же хлопотал о назначении меня в Московский мушкетерский полк, которого он был шефом, и ласково приказал мне явиться к нему на квартиру. Эта сцена, столь торжественная на страницах моей жизни, происходила 16 декабря 1803 года. Через два дня я уже был обмундирован и, сколько помню, от радости не чувствовал под собой земли: так было на душе весело, что попал в защитники отечества и надел военный мундир».

В военной службе было много сторон привлекательности. Чины и ордена давали право на личное или потомственное дворянство. Награда могла быть и в виде пожалованных денег, земли, деревень. К тому же на войне не надо сажать дерево, строить дом и растить сыновей – на войне достаточно просто быть. Армия была единственной лестницей, где можно перепрыгнуть через ступеньки. А расшибешься – значит, такая судьба: похоронят, оплачат, вдова снова выйдет замуж – все в порядке вещей. Война все упрощает и одновременно все возвышает – этим она и была всегда привлекательнее мира.

## 2

**Человек того времени повиновался не столько собственным желаниям, сколько требованиям Совесть и Долга. Внутри тогдашнего человека был Бог, снаружи – понятия Чести. Все это приводило человека на сторону Добра, хоть иногда и извилистой дорогой.**

За нарушение законов Божьих и Человеческих виновного ожидала гражданская смерть: лишение прав его сословия и изгнание из него. (В Кодексе Наполеона статья 25 гласила: «В силу гражданской смерти осужденный теряет собственность на все имущество, которым он владел; после него открывается наследование в пользу его законных наследников, к которым его имущество переходит таким же способом, как если бы он умер естественным образом и без завещания»).

Гражданская смерть была известна еще древним германцам: человек, осужденный на нее, становился живым трупом – он не имел прав человека, каждый мог убить его, не понеся никакого наказания. (Поражение в правах, сопровождавшее в сталинские времена почти каждый приговор по политической 58-й статье, было отголоском гражданской смерти. Потом, правда, не стало и этого: как собственность, так и политические права и свободы у советского человека были довольно условные – трудно отнять право голосовать у того, за кого уже проголосовано). Для человека же XIX столетия гражданская смерть означала не только потерю имущественных и сословных прав, но потерю чести, что было, возможно, намного страшнее смерти – ибо обесчещенный вычеркивался из истории, а геройски погибший оставался в ней навсегда.

Шпаги, сломанные над головами декабристов, были знаком гражданской казни. Срывая с них эполеты и ордена, Николай Первый перечеркивал, вымарывал из истории всю их прежнюю жизнь. (В 1842 году император предложил рожденных в ссылке и на каторге декабристских детей отдавать в учебные заведения – условием была перемена фамилии. Дочь Никиты Муравьева была записана Никитиной. Царь, видимо, хотел подчеркнуть: кончились Трубецкие, Волконские, Муравьевы). Декабристы становились бывшими людьми, прокаженными – еще и поэтому так велик был для тогдашнего общества подвиг Марии Волконской и других жен-декабристок: они не в Сибирь отправились к своим мужьям, а живыми спустились в ад, в царство теней. Именно эта сторона истории, а вовсе не географические соображения, приводили в трепет родственников и свет.

(Если человеку того времени приходилось выбирать между нарушением требований чести и должностным проступком, он выбирал последнее. Гиляровский приводит такой эпизод: 24 сентября 1826 года в Московском английском клубе официант на столе обнаружил анонимное письмо, адресованное полковнику жандармов Ивану Бибикову, также члену клуба. Недавно кончилось следствие по делу декабристов – все понимали, что содержание письма может стоить кому-нибудь свободы или даже жизни. Старшины предложили Бибинову письмо взять. Бибиков отказался – он понимал, что после этого не сможет оставаться в клубе. Письмо по решению старшин клуба было сожжено).

Третьим, кроме Бога и Чести, винтом, скреплявшим тогдашнее общество, была Присяга. При восшествии на престол нового монарха к присяге приводили нацию. (Николай Греч пишет, что после казни в Париже Людовика Шестнадцатого в России отыскивали французских подданных и приводили к присяге Людовику Семнадцатому). Те, кто считают, что во времена Павла Первого и Александра Первого в России присягали «царю и Отечеству», заблуждаются: присягали только царю. Нарушение присяги – клятвопреступление – было в православии одним из смертных грехов: то есть, наказание за него грешник будет нести и

после смерти. Освободить от присяги могло либо специальное решение монарха, либо его смерть.

Восстание декабристов произошло именно в декабре 1825 года только потому, что на тот момент в результате коллизии (Александр умер, а законный наследник престола Константин, которому уже присягнули войска и чиновники, отрекся) большое количество людей оказалось свободным от присяги, они были вольны поступать как хотели, и совесть при этом у них оставалась чиста. (Никого из декабристов не судили за клятвopеступление). Известно, что Николай Первый, до которого дошли слухи о готовящемся выступлении, приказал срочно приводить к присяге всех в Петербурге. Чиновников вытаскивали из постелей и привозили во дворец. Успела присягнуть и большая часть войск. На Сенатской площади верные царю войска разными путями высказывали сочувствие мятежникам. Но перейти на их сторону не решился никто. (Зато несколько моряков Гвардейского морского экипажа и солдат вышли из строя восставших и вернулись в казармы, за что потом были награждены).

Как, видимо, всегда в России, случались казусы: граф Александр Рибопьер (сидевший при Павле в крепости, при Александре создавший Государственный коммерческий банк, при Николае Первом добившийся, чтобы Турция признала Грецию и отдала Сербии захваченные у нее земли) в своих мемуарах писал, что он, пожалованный офицером еще при Екатерине, а заканчивавший служить при Александре Втором, присягал за 57 лет службы только один раз, да и то царю, который не царствовал – Константину. Все остальное время служил так – Верой и Правдой. Возможно, Рибопьер на российских просторах был не одинок.

В августе 1813 года Александр Первый специальным манифестом простил всех: и крестьян западных губерний, восставших против своих помещиков, и московский магистрат во главе с купцом Петром Находкиным, и многих других, кто «от страха и угроз неприятельских, иные от соблазна и обольщений, иные же от развратных нравов и худости сердца, забыв священный долг любви к Отечеству и вообще к добродетели, пристали к неправой, Богу и людям ненавистной стороне злонамеренного врага». Кроме прощения, велено было вернуть коллаборационистам все имущество, «словом, поставить их в то состояние, в каком они находились прежде, до впадения в вину». На всю Российскую Империю был, видимо, один человек, на которого не распространилось всеобщее прощение, и вина его состояла именно в нарушении присяги.

Архиепископ Могилевский Варлаам (Григорий Шишацкий), почему-то не покинувший города при вступлении в него 8 июля неприятеля, получил 13 июля от французов указание привести к присяге духовенство епархии и упоминать Наполеона при богослужении. В Москве на подобное предложение священники отвечали отказом. Варлаам же созвал консисторию и, несмотря на возражения некоторых ее членов, принял решение – присягнуть. Любовь Мельникова в своей книге «Армия и Православная церковь Российской империи во время наполеоновских войн» пишет: «На следующий день, 14 июля, в Иосифском соборе Варлаам и городское духовенство приняли присягу французскому императору, а затем архиепископ отслужил литургию и молебен с упоминанием Наполеона. После этого консистория отправила предписание о принесении присяги во все духовные правления Могилевской епархии». Несколько позже Могилевская духовная консистория обратилась к крестьянам губернии с призывом повиноваться французам. 3 и 13 августа были отпразднованы дни рождения Наполеона и Марии-Луизы, по каковому поводу в Иосифском соборе Могилева прошли службы и были прочитаны в честь Наполеона проповеди.

Возможно, Варлаам рассуждал, что «всякая власть от Бога»? Однако когда по возвращении русских по его делу проводилось следствие, он к этому доводу не прибегал: говорил, что решение о принятии присяги Наполеону было принято им исключительно для того, чтобы уберечь его епархию от разорения. Варлаама из архиепископов «разжаловали» в монахи и сослали в монастырь на Север России, где он умер в 1823 году. Остальные присяг-

нувшие Наполеону священники отделались несравнимо легче: «им было всего лишь предписано шесть воскресений после Божественной литургии при собрании народа полагать перед местными святыми иконами по 50 земных поклонов».

### 3

**Каждая клятва верности имела время и место действия, и вполне объяснимо, что слово «предатель» в те времена употреблялось крайне редко. Таковыми могли считаться разве что французские эмигранты или служившие в русской армии подданные государств, союзничавших с Францией или находившихся от нее в какой-либо форме зависимости.**

Осенью 1812 года в Москве французы взяли в плен барона Фердинанда Винцингероде, командира одного из русских партизанских отрядов. Винцингероде, узнав, что французы намерены взорвать Кремль, поехал в Москву, чтобы как-то этому помешать. Однако при этом барон либо что-то упустил в парламентарской процедуре (пишут, что он не взял с собой трубача), либо не являлся парламентаром вовсе (согласно Коленкуру, Винцингероде в солдатской шинели пытался «распропагандировать» французских солдат). Так или иначе, французы схватили барона и сочли его пленным. Когда Винцингероде привели к Наполеону, тот пригрозил пленнику смертью, считая барона своим подданным. Винцингероде отвечал, что давно готов к этому («Я служил всегда тем государям, которые объявлялись вашими врагами, и везде искал французских пуль!») и добавил, что царь Александр не оставит его семью. Храброму барону повезло: или ответ понравился императору, или заботы отступления отвлекли его, но сразу Винцингероде не расстреляли, а потом (под Борисовым) он был освобожден партизанами отряда графа Чернышева. В эпоху же побед Наполеон был совсем снисходителен: когда генерал Вимпфен, немец на русской службе, юридически являвшийся подданным Наполеона, был при Аустерлице взят в плен и ожидал, что его расстреляют, Наполеон просто выпил с Вимпфеном вина.

Может, Наполеон вспомнил, как в 1788 году, будучи поручиком, сам пытался поступить на русскую службу? За месяц до прошения Наполеона о принятии в Русскую армию был издан указ о принятии иноземцев на службу чином ниже, на что Наполеон не согласился. Руководившему набором волонтеров для участия в войне с Турцией генерал-поручику Заборовскому будущий император сказал: «Мне король Пруссии даст чин капитана!». Заборовский, в 1812 году ставший одним из московских беженцев, горько каялся в этом отказе. Да и король Пруссии через двадцать лет, надо полагать, готов был дать Бонапарту не только капитанский чин.

## 4

**Национальность в те времена большого значения не имела – смотрели на вероисповедание. Тогдашний военный мир был даже более интернационален, чем штатский. В армии Суворова во время Швейцарского похода главой «русской партии» был генерал Отто Вильгельм Христофор фон Дерфельден, выходец из Эстляндии, которая отошла России только в 1710 году, а до этого была шведской территорией.**

Дерфельден служил в российской армии с 19 лет. Именно он на военном совете в Мутентале, после того как Суворов рассказал о губительной для армии ситуации, от имени армии ответил: «Веди нас, с нами Бог, мы – русские».

Европа тогда имела куда более причудливый в сравнении с теперешним вид: Ганновер, например, был английским, а Померания – шведской. (Теперь это – территория нынешней ФРГ). Так что уроженца Ганновера русского генерала Леонтия (Теофила Августа) Беннигсена, которого считали немцем, правильнее считать англичанином. А прусский фельдмаршал Блюхер был родом из Померании и службу свою начал в шведской армии, в рядах которой принял участие в Семилетней войне. Именно к пруссакам он, 16-летний офицер, попал в плен и через два года записался в прусскую службу (это было делом обычным для пленных), определив этим, возможно, не только свою судьбу, но и судьбу Европы – все же именно благодаря упорству, если не упертости, Блюхера пруссаки пришли на поле Ватерлоо.

Кроме того, короли и императоры «дружили» то с теми против этих, то с этими – против тех. Из-за этого у их подданных были порой весьма причудливые послужные списки.

Например, Фаддей Булгарин, по происхождению поляк (Ян Тадеуш), известный по советским учебникам литературы враждой с Пушкиным, был в наполеоновскую эпоху офицером: сначала – в русской армии, потом – во французской. Как русский офицер, он участвовал в Прусской кампании (за Фридрихсбург получил орден св. Анны третьей степени) и в войне со Швецией в 1808–1809 годах. Потом перешел на французскую службу (после Тильзита Россия стала союзницей Франции) и в составе Польского легиона воевал в Испании. Затем проделал поход в Россию и только в 1814 году в Пруссии закончил свой боевой путь, попав в плен. Зная это, легко понять, почему в своих военных мемуарах Булгарин пишет об Испании только с позиций высокой политики, а о походе в Россию не упоминает вовсе – не писать же ему, как он, русский журналист, штурмовал батарею Раевского и рубил солдат Лихачева. Французская карьера Булгарина удалась лучше русской: если в армии Александра он дослужился до подпоручика, то в армии Наполеона стал капитаном и кавалером ордена Почетного легиона.

(Пушкиноведа едва ли не каждое слово Булгарина о Пушкине, даже то, что можно посчитать комплиментом, оценивали как донос. Забавно, что доносами считают опубликованные в журнале статьи Булгарина о «Евгении Онегине». Не проще ли и не вернее ли писать донос настоящий – тайком, о котором и не узнает никто – чем вот так, публично? И если публично – так, видимо, это уже и не донос? В вину Булгарину ставят строки о Пушкине «бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан». Но они, во-первых, во многом правда: достаточно прочитать, например, написанное Пушкиным после подавления Николаем Первым польского восстания очень даже верноподданническое стихотворение «Клеветникам России», за которое Пушкину выговаривали даже близкие друзья. Во-вторых, много написано и о том, как Пушкин стремился к придворному званию и досадовал, когда стал всего лишь камер-юнкером. При этом надо еще помнить, что Булгарин был старый солдат, а Пушкин со своим окружением были для него не нюхавшие пороху штафирки. Уже этим они не могли вызывать у Булгарина ничего, кроме насмешки и презрения. Когда друг

Пушкина барон Дельвиг вызвал Булгарина на дуэль, тот распорядился ответить: «Передайте господину барону, что я видел больше крови, чем он – чернил!». И дуэль не состоялась).

Поляк Юзеф Понятовский служил сначала в рядах австрийской армии, потом – в прусской и имел даже прусский орден, с которым он в 1806 году поехал на встречу с Наполеоном, чем вызвал неудовольствие императора, как раз накануне разгромившего пруссаков. Как известно, затем Понятовский служил Наполеону до самой своей смерти в водах реки Эльстер. А еще во французской армии служил ирландец Макдональд, а среди генералов был даже некто Андоленко – француз русского происхождения.

В Военной галерее Зимнего дворца есть портрет барона Генриха Жомини, знаменитого военного теоретика. Между тем в 1812 году барон, швейцарец по национальности, состоял в Великой Армии и был там в немалых чинах – сначала губернатор Вильны, потом – Смоленска. Если в кампанию 1812 года он и совершал подвиги, то во славу французского оружия: например, его знания помогли Наполеону переправиться через Березину. К союзникам же он перешел только летом 1813 года, в последний день заключенного после Бауцена Плейсвицского перемирия: Жомини, служивший тогда начальником штаба в корпусе Нея, рассчитывал за Бауцен получить чин дивизионного генерала, но Бертье помешал. Жомини обиделся, перешел на сторону союзников, через несколько дней был принят в русскую армию в чине генерал-лейтенанта и состоял при Александре Первом военным советником.

Удивительнее всех сложился боевой путь австрийского князя Карла Филиппа цу Шварценберга: начав воевать с французами с 1790-х годов, он после Тильзита стал послом Австрии в Петербурге. Но после того, как разгромленная под Ваграмом Австрия попала в сферу влияния Наполеона и даже отдала ему в жены свою эрцгерцогиню, Шварценберг стал австрийским послом в Париже, а в 1812 году, командуя австрийским корпусом в составе Великой Армии, вместе с ней вторгся в Россию. За бой с армией Тормасова при Городечно он по ходатайству самого Наполеона получил от императора Франца I маршальский жезл. Однако уже в 1813 году, после того как Австрия примкнула к антифранцузской коалиции, Шварценберг стал главнокомандующим всеми союзными войсками. За битву под Лейпцигом Шварценберг был награжден русским орденом св. Георгия первой степени. В общем, этот замечательный человек успел повоевать за всех и даже получить высшие награды от главных противников эпохи.

Однако Наполеон поневоле делал людей принципиальными. Сказанные бароном Винцингероде Наполеону слова («Я служил всегда тем государям, которые объявлялись вашими врагами, и везде искал французских пуль!») мог произнести упомянутый Клаузевицем в книге «1812 год» Лео фон Люцов, младший брат известного партизанского вождя пруссаков Адольфа фон Люцова. Лео служил до 1806 года в прусской гвардейской пехоте, в 1809 году перешел на службу в австрийскую армию, после разгрома которой отправился в Испанию, но там попал после капитуляции Валенсии в плен и был отправлен в Южную Францию, откуда бежал и через всю Европу пришел в Россию, где вступил в русскую армию и был принят в генеральный штаб в чине подполковника. «Я не знаю другого немецкого офицера, который участвовал бы во всех трех войнах – австрийцев, испанцев и русских – против Франции», – заключает Клаузевиц.

Биться с Наполеоном – вот что тогда было главным для огромного количества людей. И не важно, под чьими знаменами: после оставления Москвы многие русские офицеры, полагая, что дело кончится новым Тильзитом, говорили о желании записаться в испанскую армию, чтобы там воевать с французами.

Общеизвестно, что и сам Наполеон в общем-то не был французом – Корсика только в 1768 году, за год до его рождения, перешла к Франции, а до этого больше 400 лет принадлежала Генуе. Кем считать Наполеона, если к тому же верить, что его предки приехали на Корсику из Греции? (Наполеон соотносился с Францией примерно так же, как Сталин – с

Россией). Кем считал себя сам Наполеон – французом, итальянцем или корсиканцем – неизвестно по той простой причине, что для него самого этот вопрос не существовал: он служил себе, он был сам себе мир.

Армия двенадцати языков – так называли армию Наполеона. По одним данным, в составе Великой Армии в Русском походе «не французов» было около половины, по другим – четверть. При этом, хотя расы и нации были перемешаны, но, по свидетельству современников, армия не переплавилась в единый организм. Немецкие и австрийские корпуса все меньше понимали, почему они должны воевать за Наполеона, который до этого не раз становился их противником. Неспроста австрийский корпус Шварценберга в Белоруссии и пруссаки Йорка в Риге почти не доставляли проблем своим русским противникам. Испанцы сдавались при первой возможности (их, в уважение к борьбе испанцев против Наполеона, велено было содержать лучше других пленных).

При этом в русской армии языков было не меньше. Например, среди командиров всех уровней было огромное количество разных немцев, в основном – пруссаков, перешедших на русскую службу после разгрома Пруссии в 1806 году, чтобы продолжать борьбу с Наполеоном. В русской армии служил, например, будущий военный теоретик Карл Клаузевиц. Правда, тогда он был еще практик: благодаря его талантам переговорщика противостоявший русским под Ригой корпус генерала Йорка принял нейтралитет и вышел из войны. (В то же самое время два брата Клаузевица служили под французскими знаменами в корпусе Йорка: «мысль о том, что здесь, может быть, придется увидеть брата взятым в плен, была для меня гораздо мучительнее, чем представление о том, что придется сражаться друг против друга в течение нескольких дней...», – писал Клаузевиц).

Неудивительно, что газета «Ведомости», издававшаяся в 1-й Западной армии Барклая, эдакая «армейская многотиражка», выходила на двух языках – русском и немецком. Немцев было столько, что часто они даже не считали нужным осваивать русский язык. Так, военный советник Александра I генерал Карл Людвиг Август Фуль за шесть лет службы не выучил русского языка, тогда как его денщик Федор Владыко хорошо говорил по-немецки, хотя и плохо писал на родном языке. (Впрочем, не всякий русский знал свой язык – будущий декабрист Сергей Муравьев-Апостол в детстве жил в Гамбурге и Париже, на русском впервые заговорил в 13 лет, а в 1812 году было ему шестнадцать. Даже много позже, уже после восстания декабристов, попав в крепость, он, по приведенному Натаном Эйдельманом свидетельству Александра Одоевского, не мог перестукиваться с соседними камерами «по одной простой причине: не знал русского алфавита»).

Языком русского штаба был французский: как иначе поняли бы друг друга грузин Багратион, родившийся в Риге шотландец Барклай, ганноверский немец Беннигсен, ирландец Иосиф О'Рурк из армии Чичагова, француз Сен-При, серб Милорадович и крещеный турок Александр Кутайсов?

А еще в русской армии были башкиры, калмыки (у них на знамени были изречения на тибетском языке и дева-ангел Окон-Тенгри с младенцем в зубах на лошади, взнузданной змеями). Денис Давыдов писал, что при начале партизанской войны крестьяне как-то раз убили отряд из шестидесяти казаков-тептярей (тептяри – татары, жившие в то время на территории нынешней Башкирии), приняв их за солдат наполеоновской армии «от нечистого произношения ими русского языка».

Впрочем, смешение наций было обычным делом в те времена: испанскими дивизиями, действия которых 23 июля 1808 года принудили к сдаче отряд Дюпона под Байленом, командовали швейцарец Теодор Рединг и даже французский (!) маркиз де Купиньи. При этом швейцарцы были и в армии Дюпона, и во время байленских боев одни перешли на сторону испанцев, а другие остались с Дюпоном до конца. Правда, капитуляцию Дюпона принимал генерал Костаньос, испанец, который и получил титул герцога Байленского.

Интересно, что многие поляки, попавшие в русский плен в 1812 году, потом перешли на русскую службу – их определили в казачьи войска. Примечательно, что в срок службы им было посчитано пребывание в Великой Армии – так что уже скоро они начали выходить в отставку.

## 5

**В те времена у человека была одна цель: прожить жизнь не зря. Причем это «не зря» крайне редко было материальным – немалое количество людей уже по рождению имело и деньги, и титулы.**

Вот как командовавший в 1812 году сводно-гренадерской дивизией граф Михаил Воронцов, наследник громадного состояния, родившийся в Англии, сразу же записанный в полк и к 19 годам уже имевший на бумаге чин камергера (полковника). Впрочем, чин этот не значил ничего: службу в армии Воронцов начал в 1801 году поручиком.

Ему, как и многим подобным богачам, не для чего было жить, кроме славы. Поэт Петр Вяземский записал: «Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына». (Слава была и у Вольтера, но писательство не давало настоящей, 999-й пробы, славы, а о том, что мир можно завоевать, придумав диету, духи, штаны, песню, и вовсе никто не подозревал). Война была прямой и самой короткой дорогой к славе, поэтому мужчины бежали в армию чуть не наперегонки. «Я только что узнал с невыразимым наслаждением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая война, которая так превознесет славу Франции», – записал весной 1812 года французский офицер Фонтен дез Одоар.

Наполеон своей судьбой раздвинул пределы достижимого так, что те, кто прежде надеялся к старости выслужить чин полковника, при нем совершенно потеряли голову от открывшегося горизонта. В «Войне и мире» старый граф Ростов, когда его сын Николай заявляет, что хочет идти в гусары, говорит: «Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры».

Альфред де Мюссе, родившийся на излете эпохи, написал об этом так: «Один только человек жил тогда в Европе полной жизнью. Остальные стремились наполнить свои легкие тем воздухом, которым дышал он. (...) Никогда еще люди не проводили столько бессонных ночей, как во времена владычества этого человека. Никогда еще такие толпы безутешных матерей не стояли у крепостных стен. Никогда такое глубокое молчание не цариле вокруг тех, кто говорил о смерти. И вместе с тем никогда еще не было столько радости, столько жизни, столько воинственной готовности во всех сердцах. (...) Они хорошо знали, что обречены на заклятие, но Мюрата они считали неуязвимым, а император на глазах у всех перешел через мост, где свистело столько пуль, что, казалось, он не может не умереть. Да если бы и пришлось умереть? Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так прекрасна, так величественна, так великолепна! (...) Никто больше не верил в старость. Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было, были только трупы или полубоги».

Это была битва нового Голиафа с бесчисленным количеством Давидов, каждый из которых мечтал поразить его, чтобы, может быть, самому стать хоть немного Голиафом. Великий противник делал и их, Давидов, немного больше. За это каждый Давид был благодарен Голиафу. Бесчисленные Давиды не могли собраться духом, чтобы победить именно потому, что без Голиафа они становились никем. (И еще: Юрий Лотман пишет, что люди того времени постоянно ощущали себя как бы на сцене: они играли в грандиозном спектакле и разве что наедине с собой снимали свои маски и костюмы – да и то вряд ли. Еще меньше они желали окончания спектакля).

Они влюблялись в войну, как в прекраснейшую из женщин, и это почти всегда была любовь с первого взгляда. Для Вольдемара Левенштерна, который в 1812 году был майором и адъютантом Барклая-де-Толли, история этой странной для нынешнего человека любви началась в 1790 году, когда он, 12-летний мальчик, увидел морской бой между русским фло-

том и шведами неподалеку от Ревеля. «Шведские ядра долетали до нас; свист, который они производили, пролетая над нашей головой, приводил меня в восторг; некоторые ядра попали в стену этой старой деревянной батареи, и я заметил, что окружающие нимало не разделяли мое радостное настроение; некоторые старые воины даже побледнели. Их ужас и еще более величественная картина сражения произвели на меня глубокое впечатление; с тех пор я только и мечтал о сражениях и ничего так не желал, как еще раз быть свидетелем битвы», – вспоминал, повзрослев, Левенштерн.

Они любили войну еще и за то, что она все расставляла по своим местам и показывала каждому его истинный вес. Генерал Эммануэль накануне Отечественной войны сказал Денису Давыдову: «Нам нужна война, нам нужна война, мой любезный Денис: в мирное время, посмотри, и Витт становится колоссальным».

Их «сказками на ночь» были воспоминания ветеранов. Детские глаза смотрели на стариковские увечья как на ордена. Один из русских офицеров 1812 года вспоминал своего дядю, поручика Алтухова: «без правого глаза от пули, с проткнутым скулом той же стороны и без левого уха, сдернутого картечью». Этот изувеченный, ничего не выслуживший человек, считал, тем не менее, что прожил славную жизнь – ведь всю ее он отдал Отечеству!

Люди того времени легко относились к войне, возможно, еще и потому, что попадали на нее еще детьми. То, что должно быть ужасно, было для них обычно с детства. Князь Петр Багратион впервые попал на войну в 17 лет. В 1787 году на одну из бесчисленных русско-турецких войн приехал 16-летний Николай Раевский, будущий герой войны 1812 года. После этого неудивительно, что в Отечественную войну при нем были сыновья – 17-летний Александр и Николай, которому и вовсе было 11 годков. Под Салтановкой, когда измученные за десять часов боя войска стали сдавать, Раевский пошел вперед с сыновьями. «Меньшого, Николая, он вел за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее подле убитого в одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, понес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до иступления одушевил войска», – писал внук Раевского Николай Орлов, чьи воспоминания были потом опубликованы в журнале «Русская старина».

Сам Раевский потом, когда его стали допекать воспоминаниями о Салтановке, говорил, что все это придумал бывший при войсках поэт Василий Жуковский. Поэту Батюшкову Раевский говорил: «Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны); вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге». Однако послужные списки показывают, что Александр в бою под Салтановкой был, да и про ягоду Раевский рассказывает зря: младший, 11-летний Николай, после Салтановки был произведен в подпоручики – не за землянику же. Сам Раевский-старший писал знакомой сразу после сражения без шуток, но с гордостью: «Сын мой, Александр, выказал себя молодцом, а Николай даже во время самого сильного огня беспрестанно шутил; этому пуля прорвала брюки; оба сына повышены чином».

Сын императора Павла Первого Константин в 20 лет проделал вместе с Суворовым Итальянский и Швейцарский походы. Если царь отдает войне своего сына, то смели ли его подданные держать своих дома?

Надо понимать еще вот что: у всех этих людей, у всех красавцев-гусар, пленительных корнетов, графов и князей руки были по локоть в крови. Война была контактная – на выстрел надеялись мало – в основном на удар саблей или палашом. Противники бились глаза в глаза. Казалось бы, очень скоро, едва ли не сразу, человек должен был сойти с ума – однако не сходил. Причина была проста: разрушительные для душевного здоровья мысли о ценности человеческой жизни, о том, что каждый человек – целая Вселенная и т. п., еще не родились. Зато было множество геройских легенд. Говорили, например, что Карл XII, впервые оказав-

шись на поле боя и услышав вокруг себя странный свист, спросил: «Что это?». «Это пули, государь!» – отвечали ему. «Теперь это будет моя любимая музыка!» – заявил Карл. Рассказывали, что под Тулоном, когда Жюно под диктовку Наполеона писал какой-то приказ, рядом рухнуло ядро, засыпав всех землей. «Ну вот, – заявил, отряхнувшись, Жюно, – нам не придется посыпать чернила песком!». При Прейсиш-Эйлау командир французской кавалерии генерал Лепик, выехав перед ряды, увидел, что его солдаты пригибаются под русским огнем. «Выше головы, ребята! Это только пули – не гавно!» – закричал Лепик.

(Был и еще один поворот: убийство в бою совершалось сгоряча, в угаре – так убивать было легко. После того, как адреналиновая волна схлынула, убийство становилось несравнимо труднее, почти невозможно. Николай Муравьев описывал, как при Тарутино русский драгун, получив приказ убить пленного поляка, «приставя ему палаш к горлу, собирался заколоть его, но не мог решиться». У драгуна так и не поднялась рука, он подозвал проезжавшего мимо казака, тот сначала заявил: «Эту собаку заколоть? Сейчас!», разогнался, но на последних шагах поднял пику – не смог и он. Поляка погнали в Тарутино к пленным).

Война удивительным образом не ожесточала людей. Неспроста в мемуарах почти всегда пишется «неприятель» и почти никогда вы не встретите «враг». При малейшей возможности человеческое в человеке брало верх. Фаддей Булгарин писал в воспоминаниях о кампании 1808 года в Финляндии: «(...) Шведскою кавалерией, т. е. саволакскими драгунами, командовал капитан Фукс, человек лет за сорок, храбрый воин, веселый и откровенный. Он подружился с Кульневым и часто приезжал к нему на аванпосты. Неустрашимый, неутомимый Кульнев был по душе Фуксу, и если он мог достать курительного табаку, рому или другого аванпостного лакомства, то или присылал Кульневу через своего драгуна, или сам привозил на наши пикеты. (...) Наши казаки, гродненские гусары и уланы, так свыклись с саволакскими драгунами, что в авангарде вовсе с ними не перестреливались без крайней нужды».

Каждая минута без риска тягостно томила этих людей. Генрих Росс в своих воспоминаниях о 1812 годе записал: «Во время остановки и взаимного обозрения какой-то казачий офицер подмигнул одному из наших, лейтенанту фон Менцингсену. Наш выступил, подошел и тот. Долго оба гонялись друг за другом в пространстве между обоими фронтами. Все взоры были обращены на них: оба ревностно действовали саблями, но ни один не мог даже задеть другого, ибо оба умели ловко парировать удар противника. Наконец, утомившись от бесплодного и бескровного боя, оба вернулись на свое место, и это зрелище так и осталось веселым приключением».

Во время пребывания Наполеона в Москве князь Гагарин поспорил (тогда говорили – «побился об заклад») с приятелями, что доставит Наполеону два фунта чая. Надо полагать, вся компания была изрядно пьяна. Однако даже когда все начали трезветь, было уже поздно – в те времена такие вещи в шутки не обращались. Каким-то чудом Гагарин через аванпосты проехал в Москву и даже достиг Наполеона, которому, видимо, хотелось хоть какого-то разнообразия. Гагарин потом излагал его диалог с Бонапартом так:

«– Какое у вас ко мне дело? – спросил Наполеон.

– Я поспорил с целым обществом, что ваше величество не откажется отведать нашего московского чая, представляющего из себя для Москвы национальный напиток.

– И только за тем вы ко мне заявились? – спросил Наполеон, не сдерживая насмешливой улыбки.

– О, нет! Кстати, хотел на деле убедиться, так ли французы гостеприимны и галантны, как о них рассказывают.

– Французы снисходительны и любезны! – проговорил Наполеон и приказал окружающим его пропустить князя Гагарина обратно в русский лагерь».

Пари было выиграно, а Гагарин прославился на всю жизнь – еще в конце XIX века ему, постаревшему и за удобу прозванному «адамовой головой», вспоминали эту историю.

## 6

**Наполеон был бессмертен, но это было еще не все. Он брал с собой в бессмертие и друзей, и врагов – и за это люди того времени готовы были простить ему даже собственную смерть.**

«Опьяненные сражением солдаты не боялись смерти, которая могла стать вечным раем славы», – записал современник. Слава была синонимом бессмертия. И ведь не подвел расчет – тысячи из них остались в истории! «Я желаю многим молодым людям пережить подобный радостный день!» – записал в 1855 году наполеоновский офицер Анджей Неголевский, вспоминая бой в ущелье Сомосьерра, где 150 польских кавалеристов атаковали испанские позиции. Надо было скакать вверх по горной дороге, на каждом повороте которой испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трех стояло по две пушки, на последнем, четвертом – десять. С криками «Нех жие цезар!» (польский перевод французского «Да здравствует император!») поляки бросились навстречу смерти. С каждым новым поворотом дороги их становилось все меньше. До четвертой батареи доскакал замыкающий взвод колонны, которым командовал лейтенант Неголевский. Тут под ним убило лошадь, а упавшего Неголевского испанцы принялись колотить штыками – он получил одиннадцать ран.

Весь в крови Неголевский лежал возле захваченных поляками пушек, когда Наполеон, осматривавший позицию, отдал ему свой крест Почетного легиона. И ведь, наверное, не придумал Неголевский свою «радость» – должно быть, даже в горячке боли от всех своих ран он ощущал некое «счастье».

Барон де Марбо описывает, как в бою под Эйлау русский пехотинец пытался попасть в него штыком: «Он пробил мне левую руку, и я с ужасным удовольствием вдруг почувствовал, как из нее потекла горячая кровь...». Ужасное удовольствие – в этом, видимо, и был смысл существования миллионов людей, живших тогда на планете Земля, за ним гонялись Наполеон, Кутузов, Беннигсен, Мюрат, Боливар, тысячи других, помельче, и миллионы тех, кого совсем не видать даже в оптические стекла исторических книг и полотен.

Они, и правда, летели на бой, как на пир. «Наполеон, этот великий знаток людей, – вспоминал Тирион, старший вахмистр одного из кирасирских полков, – внушил войскам, что дни сражения суть большие праздники, и раз навсегда был отдан приказ, чтобы в дни сражений люди были в полной парадной форме». Война делалась грандиозным спектаклем, и в нем каждому хотелось рольку, да хорошо бы еще со словами. «Я сыграла небольшую партию в огромном спектакле, который мы дали господам пруссакам на равнинах под Йеной», – пишет Тереза Фигер (драгун Сан-Жен). Поэтизировали даже то, что, казалось, поэтизировать невозможно. «В воскресенье вокруг Прейсиш-Эйлау под величайший оркестр состоялся большой и пышный бал. Танцевальная зала была на равнине, покрытой снегом, и замерзших болотах. Снег падал крупными хлопьями, и эти новые цветы немного украшали праздник...», – так француз Виталь Иоахим Шаморен, командир эскадрона конно-гренадерского полка, описал сражение, в котором 160 тысяч русских, пруссаков и французов в течение целого дня в снегу и метели убивали друг друга. На этом балу погибло и было ранено около 70 тысяч человек. Из мертвецов потом сложили поленницы и сожгли. Возможно, и на горевшие трупы крупными хлопьями падал снег, но смог ли он хоть немного украсить эту сторону «праздника», неизвестно.

Они много видели смерти, очень много, чересчур много, от этого смотрели на нее как зрители в театре, убежденные, что за кулисами актеры оботрут бутафорскую кровь и пойдут ужинать. Врач баварской кавалерии Генрих Росс записал в своих воспоминаниях: «Я видел, как на совсем близком расстоянии (...) пушечное ядро сняло голову французскому инженер-полковнику, так что туловище его еще несколько мгновений продержалось в стоячем

положении на лошади, а кровь била кверху, как это бывает обычно при обезглавливании». Вот так, без сантиментов, без нынешних размышлений о том, что жизнь – это целый мир, и даже без мыслей о том, что и ему другое ядро может также оторвать голову Александр Чичерин, офицер лейб-гвардии Семеновского полка, в октябре 1812 года записывает в своем дневнике судьбу канарейки: ее, едва не замерзшую, подкинули к нему в палатку друзья, он ее отогрел, птичка начала уже было летать, но утром Чичерин обнаружил ее мертвой. Он, впрочем, и о ней не больно-то горевал, но все же потратил время, записывая в дневник и пытаясь (правда, безуспешно) придумать по этому поводу мораль. Писать же в дневнике о смерти своих однополчан ему в голову не пришло – дело-то обычное...

Француз Фантен дез Одоар записал, как после битвы под Фридландом убитых, чтобы не хоронить, сбрасывали с обрыва в реку Алле: «В этом занятии, казалось, не было ничего веселого, тем не менее, такова уж легкомысленность солдата, а в особенности французского, что самое неподобающее оживление царило на этих весьма оригинальных похоронах. Дело в том, что трупы, скатываясь с откоса, кувыркались, принимая самые невообразимые позы, что вызывало взрывы всеобщего смеха».

Барон Марбо в 1806 году, увидев в замке Заальфельд тело принца Людвиг, убитого в бою, пишет: «Я не мог не предаться печальным размышлениям о непрочности человеческого существования». Судя по всему, он просто взглянул на покойника, как на достопримечательность, да еще и не без некоторого злорадства – ведь именно в этом замке принц буквально накануне вечером устроил бал, на котором клялся разбить французов.

В Москве князь Шаховской видел оставшиеся от французов трупы их товарищей: «приставленные к печкам и нарумяненные кирпичом». Они спешили посмеяться над смертью, зная, что когда-нибудь она все равно посмеется над ними.

Кроме привычки к смерти была еще и усталость, невероятная усталость. Александр Муравьев пишет о том, как на Бородинском поле по окончании сражения пытался найти брата Михаила, и, дойдя до батареи Раевского, «утомившись до чрезвычайности, лег тут отдохнуть на землю, подле одного раненого, заснул немного и, проснувшись, застал соседа уже мертвым».

В те времена и «сувениры» были соответствующие. Вольдемар Левенштерн записал после Бородинского сражения: «я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана всегда делает честь кавалерийскому офицеру». Барон Марбо при осаде Сарагосы был ранен необычной пулей – очень большого калибра, сплюснутая молотком, на каждой стороне был выгравирован крест. Из-за зазубрин эта пуля была похожа на шестеренку от часов. Император Наполеон отослал пулю, вынутую из груди де Марбо, на память его матери.

Генерал Коновницын после Бородинского сражения отослал домой свой сюртук, у которого пролетевшим ядром оторвало обе полы. Генерал в свои 38 лет совершенно по-мальчишески рассматривал это как «куриоз». Жена Анна Ивановна в ответ писала: «Как все твои люди рыдали, видя твой сюртук»: женщины и тогда были мудрее самых умных мужчин, а мужчины и тогда были как дети. Тот же Коновницын уже при отступлении французов посылал домой детям отбитые у неприятеля пушки: «Петруше посылаю на память, надобно сделать лафет и ее беречь. Другую пушку, маленькую, мне сейчас принесли – посылаю Ване милому».

## 7

**Место в истории, которое было целью тысяч молодых людей, гарантировал только подвиг – но его нужно было еще «застолбить» за собой. Из-за этого война годами продолжалась на страницах мемуаров.**

Ермолов, при Прейсиш-Эйлау собравший на русском левом фланге 36 орудий и несколько часов картечью отбивавший французские атаки, был представлен Беннигсеном к Георгиевскому кресту 3-й степени, который однако получил Кутайсов, какового по старшинству чина посчитали организатором обороны. «Его одно любопытство привело на мою батарею, и, как я не был в его команде, то он и не мешался в мои распоряжения», – раздраженно пишет Ермолов, заключая: «Вот продолжение тех неприятностей по службе, которыми так часто я наделяем!».

Второй легендарный ермоловский подвиг – отбитую батарею Раевского – оспаривало еще больше народу. Напомню, Ермолов по поручению Кутузова ехал на левый фланг. Кутайсов от скуки увязался следом. Они оказались напротив батареи Раевского именно в тот момент, когда ее захватили французы из бригады Бонами. Каким-то чудом остановив разбегавшихся солдат Уфимского полка, Ермолов повел их в атаку. Кем-то командовал Кутайсов. Русские ворвались в укрепление и подняли французов на штыки. «Нужна была дерзость и мое счастье, и я успел», – горделиво писал Ермолов. Он в общем-то имел право на гордость: возможно, эта контратака спасла сражение – прорванный русский центр, без сомнения, воодушевил бы французов, у которых к тому времени осталось еще достаточно конницы для расширения и углубления прорыва.

Однако как всегда у победы оказалось много отцов. Адьютант Баркляя Вольдемар Левенштерн в своих воспоминаниях описывал все так, будто первым ворвался в захваченный французами люнет он с солдатами Томского полка, а Ермолов и остальные подоспели потом: «В тот момент все признали за мою заслугу, что я увлек всех своим примером. Генерал Ермолов поцеловал меня на самой батарее и тут же поздравил с Георгием, который я, несомненно, должен был получить. Но впоследствии, когда этот эпизод был признан самым выдающимся событием дня, другие лица пожелали присвоить себе эту честь».

Кроме Левенштерна, батарею Раевского атаковал Иван Паскевич с солдатами своей 26-й пехотной дивизии. Паскевич вскользь упоминает Кутайсова, а про Ермолова молчит. Левенштерн пишет про Ермолова, а Кутайсова не вспоминает (впрочем, он мог его и не видеть). А Ермолов, видимо, сразу решив не делиться ни с кем славой, в своем рапорте Баркляю от 20 сентября забывает и про Кутайсова, и про расцелованного Левенштерна, не говоря уж о Паскевиче.

Еще интереснее, что в одном из вариантов рапорта о сражении («Описание сражения при селе Бородино, происходившего 26 августа 1812 года», «Бородино. Документальная хроника», М. РОССПЭН, 2004, стр. 329) кто-то решил забыть о них всех. В этом «Описании» эпизода первого захвата батареи Раевского просто нет. Автором описания был наверняка Карл Толь. Вряд ли ему хотелось признавать, что почти сразу после начала сражения центр позиции был прорван и один из главных пунктов обороны достался противнику. Алексей Васильев и Лидия Ивченко в своей работе «Девять на двенадцать, или Повесть о том, как некто перевел часовую стрелку (о времени падения Багратионовых флешей)» путем сопоставления мемуаров и документов вычислили, что Бонами со своими солдатами взяли батарею в девять утра. Они же показали, что примерно в это же время французы захватили флешу. То есть, через три часа после начала боя русская армия потеряла почти все. Мог ли Толь позволить себе согласиться с такой картиной боя? Вряд ли – он ведь тоже наверняка

хотел орденов. Толь хотел вычеркнуть всех из истории по той же причине, по какой Ермолов и другие хотели себя вписать.

Анекдотическая по всем меркам ситуация и разрешилась в полном соответствии с анекдотом «Пришел лесник и всех нас выгнал»: царь сам решил, у кого какие заслуги. Так, хотя Барклай представил Ермолова за Бородино к Георгию 2-й степени, а Кутузов переменял это на орден святого Александра Невского, но царь постановил – Анна 1-й степени («награду, получаемую за смотры войск и парады» – с отчаянием восклицает Ермолов в воспоминаниях). Впрочем, и остальным не повезло: Паскевич также получил Анненскую ленту, а Левенштерн уже в июне 1813 года в жалостливом письме к Барклаю напоминал о себе и об обещанном ордене Святого Георгия. В послужном списке Левенштерна этот орден 4-й степени есть, но за Бородино ли он получен – неизвестно.

## 8

**Офицеров и генералов к наградам представляли после каждой битвы и почти поголовно. Надо было особо «отличиться», чтобы не попасть в наградные списки.**

За Бородино Кутузов обошел представлениями только Платова и Уварова (одни пишут – из-за того, что рейд казаков во французский тыл не принес ожидаемого эффекта, другие намекают, что в день битвы Платов был мертвецки пьян). Возможно, самой щедростью испрашиваемых наград он хотел показать императору, что битва была славная, почти победа. Император же, снизив многим представленным ранг наград, видимо, хотел напомнить, что «отразив неприятеля на всех пунктах», армия затем отступила и оставила древнюю столицу. Дохтурову, Милорадовичу и Коновницыну царь вместо Георгия 2-й степени расписал, например, первым двоим – алмазные знаки Александра Невского, а Коновницыну шпагу с алмазами.

«За так» монархи награждали разве только чтобы сделать друг другу любезность. Например, в Тильзите Наполеон наградил крестом Почетного легиона рядового лейб-гвардии Преображенского полка Алексея Лазарева. Ему также полагался легионерский пенсион – тысяча франков в месяц. История Лазарева грустная. Как кавалера, его приглашал на свои приемы французский посол в Петербурге Коленкур. Правда, в 1809 году по повелению цесаревича Константина французский орден у Лазарева отобрали. Историк Андрей Юрганов в своей работе «Дело» Алексея Лазарева» называет причину: Лазарев за некие «дерзкие поступки» был разжалован в рядовые и переведен из гвардии в пехоту. Потом он снова был переведен в гвардию и даже выслужил чин прапорщика, но в 1819 году попал за драку под суд, ждал окончания следствия под арестом несколько лет с перерывами и в конце концов в апреле 1825 года застрелился. Повлияла ли на характер Лазарева отобранная награда французского императора – кто знает?

В любом случае, чтобы получить боевой орден, надо было быть на войне. Граф Евграф Комаровский, с началом войны сопровождавший Александра Первого, по его поручению отправился собирать для армии лошадей в Подольской и Волынской губерниях. Граф собрал 13 тысяч лошадей – видимо, благодаря ему у России была в Заграничном походе кавалерия. Однако никаких наград за 1812 год Комаровский не получил. В воспоминаниях он записал: «Однажды, будучи наедине с государем, я дал почувствовать его величеству, как много я потерял по службе тем, что не находился в армии, что не могу даже участвовать в празднествах, учрежденных для воспоминания незабвенных военных подвигов нашей армии, каковы суть Лейпцигская баталия, вход в Париж и проч., и лишен права носить медаль 1812 года, которою украшены почти все, имеющие военный мундир. На сие император мне отвечал: «Что делать; это зависит от обстоятельства, но ты себя ничем упрекнуть не можешь...». (В 1819 году Комаровский получил Георгия 4-й степени за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах).

Герои-генералы относились к награждениям и производству в чин по-детски ревниво. (Кроме старшинства в чине, существовало еще понятие «старшинство в производстве»: при одинаковых чинах старшим считался тот, кто получил свой чин раньше. В книжках про 1812 год не раз упоминается, что Багратион считал себя старше Барклая производством. Между тем в генералы от инфантерии они были произведены в один день, одним указом. Только фамилия Багратиона в этом указе стояла раньше, чем фамилия Барклая – видимо, по алфавиту. Мелочь, а вся история 1812 года едва из-за этого не стала иной).

Раевский был представлен Багратионом за Салтановку к ордену Александра Невского, за Смоленск к Георгию 2-й степени, Кутузовым за Бородино снова – к Георгию 2-й степени, а за Шевардино – к брильянтовым знакам, которые давались к орденам Александра Невского

или Анны первой степени. Но уже из Тарутино генерал жаловался в письме к другу, что до сих пор из этого золотого дождя на него не пролилось ни капли.

В декабре, уже после изгнания французов, Раевский пишет жене из Вильно: «Кутузов, князь Смоленский, грубо солгал о наших последних делах. Он приписал их себе и получил Георгиевскую ленту (первую степень ордена – *прим. С.Т.*). Тормасов – Св. Андрея, Милорадович – Св. Георгия второй степени и высшую степень Владимира, а я, который больше всех, чтобы не сказать один, трудился, должен дожидаться хоть какой-нибудь награды!». В конце концов только в 1813 году Раевский получил за Бородино орден Александра Невского и брильянтовые знаки к нему, а Георгия 2-й степени получил только под занавес войны – за Париж (крестом 3-й степени он был награжден за Малоярославец).

Такое отношение к наградам вызвано соображениями житейского расчета: большинство офицеров и генералов награжденное оружие, и алмазные знаки к орденам почти сразу продавали. Тот же Раевский, дождавшись наконец, ордена Александра Невского, пишет: «Это десять тысяч рублей для дочери, я ей сделаю подарок». А в следующем письме к жене говорит, что сын Александр «умолил меня позволить ему продать его золотую шпагу» (Александр из своей награды за бой под Красным хотел сделать подарок сестре Екатерине). «С моими брильянтами от Св. Александра мы сделаем несколько милых вещей для нашей дорогой дочери», – пишет Раевский.

Герои войны по большей части были небогаты и стремились конвертировать славу в деньги разными способами. Так, генерал Михаил Милорадович добивался расположения графини Орловой-Чесменской, обладательницы несметных миллионов отца.

Денис Давыдов юмористически описывал пребывание Милорадовича в Гродно осенью 1812 года при изгнании французов: «Он в то время получил письмо с драгоценною саблею от графини Орловой-Чесменской. Письмо это заключало в себе выражения, дававшие ему надежду на руку сей первой богачки государства. Милорадович запыхнул восторгом необоримой страсти! Он не находил слов к изъяснению благодарности своей и целые дни писал ей ответы, и целые стопы покрыл своими иероглифами; и каждое письмо, вчерне им написанное, было смешнее и смешнее, глупее и глупее! Никому не позволено было входить в кабинет его, кроме Киселева, его адъютанта, меня и взятого в плен доктора Бартеlemi. Мы одни были его советниками: Киселев – как умный человек большого света, я – как литератор, Бартеlemi – как француз, ибо письмо сочиняемо было на французском языке. Давний приятель Милорадовича, генерал-майор Пассек, жаловался на него всякому, подходившему к неумолимой двери, где, как лягавая собака, он избрал логовище. Комендант города и чиновники корпуса также подходили к оной по несколько раз в сутки и уходили домой, не получа никакого ответа, от чего как корпусное, так и городское управление пресеклось, гошпиталь обратился в кладбище, полные хлебом, сукном и кожами магазины упразднились наехавшими в Гродну комиссариатскими чиновниками, поляки стали явно обижать русских на улицах и в домах своих, словом, беспорядок дошел до верхней степени. Наконец Милорадович подписал свою эпистола, отверз милосердые двери, и все в оные бросились... но – увы! – кабинет был уже пуст: великий полководец ускользнул в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку...».

Подвиги вообще имели неплохую покупательную способность. Генерал Коновницын в 1813 году узнав, что дочь Лиза очень хочет стать фрейлиной, писал жене: «а Лизе вензель выслужу, (...) пойду в Данциге на батарею...». То есть, чтобы заслужить для дочки придворное звание, отец брался штурмовать крепостные укрепления Данцига (нынешний польский город Гданьск).

Барон де Марбо вспоминал, как его знакомый Лефрансуа «накануне показал мне письмо, в котором любимая им женщина объявляла, что ее отец будет согласен на их брак, как только он получит чин майора (подполковника). Чтобы получить это звание, Лефрансуа

вызвался вести войска на штурм (монастыря святого Франциска при осаде Сьюдад-Родриго – прим. С.Т.). Атака была мощной, оборона упорной. После трехчасового боя наши войска овладели монастырем, но бедный Лефрансуса был убит!..».

Жажда наград приводила и к менее героической смерти. В 1813 году при осаде союзниками крепости Глогау подпоручик Костромского ополчения влюбился в местную немецкую девушку Фредерику. Подпоручику было 14 лет – видимо, это была его первая любовь. 10 ноября французы пошли на вылазку, которую ополченцы героически отбили. В главную квартиру отправили реляцию со списком представленных к наградам. Подпоручик, состоявший при дежурном генерале Розене адъютантом, внес в этот список себя, подделав почерк Розена – уж очень хотелось этому подростку покрасоваться перед Фредерикой с Владимиром 4-й степени. Награда пришла, но тут обман раскрылся. Офицеру грозил суд, а пуще того – позор. Он сбежал из армии, девять дней ходил где-то, а 25 мая 1814 года, уже после окончания войны, застрелился недалеко от дома Фредерики.

Иногда подвиги имели объявленную цену. Когда весной 1811 года Мармон отбывал в Испанию, Наполеон сказал ему: «В Испании вы будете хорошо вознаграждены. После завоевания полуостров должен быть разделен на пять государств, управляемых вице-королями с их дворами и всеми королевскими почестями; одно из этих вице-королевств предназначено для вас: идите и заслужите это». Мармон пошел, но не заслужил.

Награды могли быть и совсем необычными. После сражения при Ляхово, где партизаны, объединив несколько отрядов, заставили сдаться в плен целую французскую бригаду, Кутузов послал с реляцией к царю знаменитого уже героя-партизана Александра Фигнера. Как и бывает, гонец, принесший добрые вести, был осыпан милостями: чин подполковника с переводом в гвардейскую артиллерию, флигель-адъютантство... Однако Фигнер как будто не рад. Когда же царь поинтересовался, чего же Фигнеру надобно, тот попросил простить бывшего Псковского губернатора Михаила Бибикова, приходившегося Фигнеру тестем. Бибиков за растрату, настоящую или мнимую, уже несколько лет был под судом, но по просьбе героя-зятя прощен и освобожден от суда и «всякого по нему взыскания».

Бывали и другие занятные просьбы. Например, Михаил Илларионович Кутузов, желая сделать приятное своей жене, во время похода 1813 года по Германии просил у императора Александра разрешения возобновить постановку французских пьес в Петербурге. 19 февраля первый такой спектакль состоялся в доме А. Л. Нарышкина. Княгиня Смоленская при этом сказала: «Я, правда, не меньшая патриотка как всякий, но чтоб французский театр мешал любить свое отечество, я этого не понимаю; Слава Богу, по крайней мере, мы не будем сидеть с мужиками!».

## 9

**Наполеоновские времена стали апогеем эпохи, когда люди жили для того, чтобы хоть чуть-чуть как-то повернуть колесо истории – и одновременно ее закатом.**

Самым большим потрясением для всех – и побежденных, и, главное, победителей – оказалось то, что мир после этих удивительных, невообразимых 15 наполеоновских лет вдруг словно кошка встал на четыре лапы. Ничего не изменилось...

Война кончилась, но наступившая эпоха спокойствия удивительным образом не принесла удовлетворения, наоборот, она вызывала реакцию отторжения у этих людей, которые в течение полутора десятилетий годами не вылезали из седла. Пишут, что, например, Остерман-Толстой, уехавший при Николае Первом в Европу, устроил у себя в доме алтарь, посвященный Александру Первому: портреты, бюст императора, медали. (В памятные дни в комнате курился фимиам, из-за чего во время путешествия по Востоку местные жители посчитали Остермана последователем какого-то неизвестного культа). В Ливане Остерман велел высечь в мраморе свои суждения о правлении Александра I и о двадцатипятилетнем «*Felicitas Trajana*» (счастливом правлении) и прикрепить эту мемориальную доску к ветвям дерева в знаменитой кедровой роще. «Он просто в отношении к России заживо замер и похоронил себя в дне 19 ноября 1825 года», – писал мемуарист. Когда Николай Первый пригласил Остермана на празднование юбилея Кульмской битвы, генерал не поехал. О чем было разговаривать с пигмеями ему, видевшему великанов?! Николай Первый понял это и не обиделся – даже прислал Остерману знаки ордена Святого Андрея Первозванного. Пакет с орденом остался нераспечатанным до самой смерти генерала.

А ведь было еще немало тех, кому не хватило войны. Декабристы в России, которых при советской власти расценивали как предтечу социалистической революции, на самом деле скорее всего просто пытались догнать ушедший поезд. Сенатская площадь была для них Тулоном, который в каждой перестрелке ищет князь Андрей у Толстого. «В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно, – писал декабрист Иван Якушкин. – В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события и некоторым образом участвовали в них (Якушкин в лейб-гвардии Семеновском полку прошел Отечественную войну и Заграничный поход, был награжден орденом святого Георгия 4-й степени и Кульмским крестом – прим. С.Т.); теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь». Часть декабристов в наполеоновские годы была слишком молода и не успела блеснуть, часть блеснула, но считала, что заслужила больше, чем получила. «Мы умрем! Как славно мы умрем!» – вскричал декабрист Александр Одоевский, узнав, что восстание все же будет. В 1812 году ему было 10 лет.

Есть знаменитая формула Герцена: о том, что декабристы хотели сделать революцию «для народа, но без народа». Она красивая и очень хорошо заслоняет то, что декабристы о народе в общем-то почти не думали. Пункт об отмене крепостного права, содержащийся во всех их программных документах, – это по тем временам уже давно было общее место. При этом куда более важный вопрос о наделении крестьян землей во всех трех программных документах декабристов рассматривается крайне робко. Конституция Никиты Муравьева предусматривала выделение крестьянам двух десятин земли – тогда как крестьянину для прокорма требовалось четыре. Пестель в «Русской правде» делил всю землю на две части: одну, побольше, оставлял помещикам, другую, поменьше – крестьянской общине. Делать из крестьян индивидуальных собственников – это Пестелю даже в голову не приходило: «Еще хуже – отдать землю крестьянам. Здесь речь идет (...) о капитале и просвещении, а крестьяне не имеют ни того, ни другого». В «Манифесте к русскому народу» Сергея Трубецкого о земле и вовсе не говорилось. Иван Якушкин, решив для последовательности освободо-

дить своих крестьян, землю все же собирался оставить себе. Якушкина не поняли не только крестьяне. Из министерства внутренних дел пришел ему ответ: «если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». (Обязанности, и правда, были: например, в неурожайный год помещик обязан был кормить крестьян за свой счет). Так что Герцен скорее всего не прав в обоих пунктах: декабристы хотели сделать революцию не только «без народа», но и не «для народа», а для самих себя.

Они потому и не пошли в атаку утром 14 декабря, когда у них все еще могло получиться, что по их меркам у них и так уже все получилось: славная смерть – вот и все, что им нужно было от жизни. Вполне вероятно, Николай Первый разгадал их – и казнил только пятерых, обрекши остальных на наказание мучительной и, скажем прямо, довольно бесславной жизнью.

Наполеон показал, что можно перевернуть мир. И он же показал, что мир на самом деле не переворачивается. К тому же и слава из-за ее перепроизводства не принесла тех дивидендов, на которые люди могли рассчитывать – подвиги обесценились. Наполеон опустошил не только материальный мир государств, но и внутренний духовный мир людей: после него в мире стало пусто и скучно.

Разочарование было массовым. На фоне минувшей эпохи все мужчины казались карликами. Лермонтов, описывая Печорина, дал портрет одного из детей 1812 года, который ищет и не находит смысла жизни. Печорин бросается под пули, но это не разогревает его кровь и никуда не продвигает его философию: «Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!» – мысль и в те времена давно весьма банальная. Потом Печорин пытается влюбиться в княжну Мэри – но, оказывается, он не умеет любить: не учили. (Любовь в ее нынешнем понимании тогда была редкость – у мужчин на нее в общем-то никогда не хватало времени, браки устраивали родители жениха и невесты, «дети» же почти всегда принимали родительский выбор). Сам Лермонтов был таким же: его не учили любить (кстати, рисуя линию Печорин-Вера, Лермонтов пытается хотя бы в повести довести до желаемого конца свой роман с Варварой Лопухиной, с которой был помолвлен, но разлучен, и вышла замуж она за богатого помещика Николая Бахметева старше ее на 17 лет). Всякая война проигрывала 12-му году в сравнении. Валерик был, конечно, жестокой битвой (русские и чеченцы три часа рубились саблями, Лермонтов писал, что «даже два часа спустя в овраге пахло кровью»), но он не мог даже сравниться с самой мелкой арьергардной стычкой Отечественной войны.

Видимо, подобное же чувство было у Толстого, поехавшего в 1854 году в Севастополь. Он забрался на самый гибельный 4-й бастион (в некоторые дни на бастион падало до двух тысяч неприятельских снарядов) и писал оттуда брату Сергею: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать ребята, умрете?» и войска отвечали: «Умрем, Ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а ВЗАПРАВДУ и уже 2200 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сместить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время!..». Чудное время!

Однако Севастополь не заслонила Отечественную войну – тем более, ведь не победили мы. Вместо славы война принесла разочарование и стыд. «Для чего жить?!» – об этом размышляет Андрей Болконский, вернувшийся домой после Аустерлица, другого постыдного

поражения России – возможно, Толстой записал свое настроение после окончания Крымской войны.

В знаменитом эпизоде с дубом князь Андрей сначала решает, что его время прошло («пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!»), а потом, увидев, что дуб выбросил молодую листву, он вдруг понимает, что жизнь не кончилась. Правда, определенности в этом решении немного («надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»), однако заметнее всего вот что: «Тулона», поиском которого задавался князь Андрей в 1805 году, теперь нет. Он перестал искать подвигов – он решил просто жить, просто жить для себя! Правда, сам князь Андрей пожить для себя не успел. А вот Безухов и вышедшая за него Наташа как раз являются примером этой идеи: они просто живут для себя. Не для мира и не для истории, не для Бога, а для себя. Делают детей, стирают пеленки...

Марк Алданов в работе «Загадка Толстого» отмечает, что писатель в «Войне и мире» на примере Болконских и Ростовых пытался понять, какая жизнь лучше – духовная или материальная? Алданов отмечает, что Болконские, в семье которых идет «напряженная духовная работа», все несчастны. Ростовы же, у которых «никто никогда не мыслит, там даже и думают только время от времени», наоборот – «блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты». Смысл жизни – сама жизнь. В этом состояло открытие Толстого.

Вторая идея Толстого – исторический фатализм: все будет как будет. У него и Наполеон бессилён. Толстой низвел смысл жизни человека до смысла жизни муравья. Но все ему поверили, потому что жить для себя казалось так здорово. Но если для себя, то надо устроиться поудобнее. А поудобнее – это значит, минимум детей, минимум волнений, минимум усилий. Нынешняя европейская цивилизация ленива, труслива и почти не делает детей.

В противоположность ей мусульманский мир, где произведения Толстого не прижились, работает не покладая рук, готов умереть за идею в любой удобный момент и плодится без остановки. Обвязывая себя поясом шахида, мусульманин идет, чтобы чуть-чуть крутнуть колесо истории. Чтобы совершить подвиг и остаться в веках навсегда.

Победа, впрочем, пиррова: справившись с Европой, победители возьмутся друг за друга. Да и уже взяли. В основе этой «победы» – одно только разрушение. Возможно, спустя много лет победитель, оставшись один среди разоренного мира, оглянется и скажет, как Наполеон в повести Марка Алданова «Святая Елена, Маленький остров»: «Если Господу Богу угодно было лично заниматься моей жизнью, то что он всем этим хотел сказать?». Только такие вопросы лучше бы задавать пораньше – они спасают много человеческих жизней.

## На войне

*Война и жизнь. Женщины в армии. Форма. Оружие. Глобализация войны.*



## Часть I Война и жизнь

### 1

Сама по себе война занимает на войне не так уж много времени. Сражение в наполеоновскую эпоху длилось 10–12 часов (кроме гигантских битв вроде Ваграма, Эсслинга, Лейпцига и других). Но маневрировать или гоняться за противником приходилось недели. Все это время надо было где-то жить, как-то устраиваться, что-то есть.

Наполеоновские войны начались в те времена, когда воевать предпочитали летом (зиму армии пережидали – отсюда и выражение «зимние квартиры»), и поэтому не заботились о палатках и теплой одежде. (До 1805 года французы даже шинелей не имели). В походе на ночь разводили громадные костры, вокруг которых ложились ногами к огню. Во французской армии офицеры имели нечто, напоминавшее нынешние спальные мешки. Однако тепла они давали немного.

У французов палатки имела только гвардия Наполеона и его штаб. В России жизнь в палатке часто была предпочтительнее жизни в домах – настолько они были убоги. «Владельцы этих нищенских халуп, покидая их, оставляли в них два, иногда три стула и деревянные кровати, которые в избытке были заселены клопами. Никакое вторжение извне не было в состоянии вынудить этих насекомых покинуть свое убежище», – писал Констан.

Жилье императора во время походов в немецких, испанских, австрийских, русских домах, избытках и замках обустроивалось так: «Сначала на полу раскладывался ковер, потом устанавливалась походная железная кровать императора и на маленький стол ставился дорожный несессер, содержащий все необходимое для спальни комнаты. (...) Если в доме было две комнаты, то одна из них служила спальней и столовой. А другая превращалась в кабинет императора». При этом всякое помещение, где устраивался император, именовалось «дворцом». В этом был некоторый стиль – насмешка победителя бытом, который в походе чаще всего был крайне убог. (Показательно, что виллу в Лонгвуде на Святой Елене ни Наполеон, ни его свита не именовали «дворцом» – видно, понимали, что здесь это было бы уже не величественно, а смешно).

Капитальная постройка еще не гарантировала комфорта. В Испании при осаде Сюдад-Родриго маршал Массена занял каменное здание. Однако в первую же ночь оказалось, что внутри стоит невероятная вонь! Выяснилось, что прежде здесь держали овец. Тогда Массена стал время от времени захаживать к своим штабным офицерам – они на собственные деньги построили деревянный «барак», где спали прямо на полу. Тем не менее Массена, приходя туда, говорил: «Как у вас хорошо! Дайте и мне местечко для кровати и стола!...».

Граф де Марбо, один из адъютантов Массены, описывавший этот случай, вспоминал: «Мы поняли, что это будет дележ со львом, и поменяли свое прекрасное жилище на овечьи стойла. Нам приходилось ложиться прямо на голый зловонный пол и дышать гнилостными миазмами. Уже через несколько дней мы все чувствовали себя в разной степени больными».

Только в Булонском лагере французы устроились основательно: «Сухопутные войска, размещенные в лагере, занимали хижины, возведенные из глины и веток, составляя целый городок, разделенный на улицы. Каждый полк, бригада, дивизион имели собственное жилье, отделенное от других широким авеню», – писал секретарь Наполеона Меневаль.

Кавалерист-девица Надежда Дурова, описывая отступление русских в 1812 году, не упоминает шалаши – но для них нужно и время, и лес, так что устраиваться даже с таким минимумом удобств войска могли далеко не всегда и не везде. Основательнее всего русские

в 1812 году обосновались в Дрисском лагере, а потом под Тарутино, где были и шалаши, и землянки, а для некоторых офицеров выстроили и избы, для чего разобрали несколько домов в селе. Рядом с лагерем был базар, а между шалашей даже ходили сбитенщики.

Стоянки в городах на походе были большим счастьем. В этом случае солдаты и офицеры получали «квартирные билеты» (адреса домов, куда они были определены на постой), по которым и расселялись. Хозяева же потом по «квартирным билетам» получали от государства деньги. (Правда, платили ли, например, французы за постой русских – этот вопрос выяснить не удалось). Постой всегда был лотерея. Иногда удавалось срывать джек-пот Фаддей Булгарин вспоминал, как он с товарищем в войну 1808 года в Финляндии устроился в одном из городков: «Мы жили роскошно, имели по несколько блюд за обедом и за ужином, весьма хорошее вино, кофе и даже варенье для десерта. Только шесть домов во всем городе имели подобные запасы, и по особенному случаю самый богатый дом достался двум корнетам! Была попытка отнять у нас квартиру, но Барклай-де-Толли по представлению Воейкова не допустил до того. «Военное счастье, – сказал он, улыбнувшись, – пусть пользуются!..».

Почему солдаты (да часто и офицеры) того времени не имели палаток? Ответ простой: это была лишняя поклажа, солдат же и без того был навьючен как мул. В Великой Армии вес оружия и разного имущества, нагруженного на французского солдата (да еще с учетом положенного ему четырехдневного запаса провизии), составлял больше 24 килограммов.

В Русском походе на пехотный взвод для перевозки всякого добра выделялись две лошади, но имущества было так много (котел с крышкой, один котелок, большой бидон, лопата, мотыга, топор, садовый нож, два шерстяных одеяла, персональная фляга для каждого солдата и три малых фляги для уксуса), что большая его часть все равно оседала на солдатских плечах и спинах. В 1810 году генерал Фуа предложил новую схему переноски грузов. Фуа, может, и не знал поговорку «Лучший отдых – смена деятельности», но мыслил точно по ней: солдаты должны были нести, поочередно сменяясь, грузы разного веса (первый 28,6 кг, второй 30,3 кг, третий 30,8 кг). Вряд ли это разрешило проблему: в Русском походе в Великой Армии число отставших доходило до половины.

За всю эпоху наполеоновских войн известны лишь два-три эпизода, когда пехота ехала на телегах. В 1805 году некоторые части Великой Армии везли на телегах из Булонского лагеря. Особой скорости телеги не давали – лошади плелись не быстрее людей. Но важно было другое – солдаты не выматывались. Осенью 1812 года генерал Милорадович также на телегах доставил новобранцев-рекрутов под Гжатск. Правда, ружья следовали другим обозом и отстали, так что Милорадович за свою инициативу получил от Кутузова нагоняй. «Телего-пехота» ни у кого из противников не прижилась – с ней обоз становился еще более громоздким, и в результате передвижение войск только замедлялось.

«Да, были люди в наше время! – говорит старый солдат в лермонтовской поэме «Бородино». – Богатыри – не вы!». И правда – не мы. Движущей силой всех армий были солдатские ноги. Солдаты Суворова, Наполеона, Блюхера делали переходы по 50–60 километров в сутки. Суворов, чтобы отвлечь и развлечь солдат на марше, использовал уловку: находившиеся в голове колонны офицеры на ходу разучивали с солдатами французские слова – это принуждало солдат тянуться вперед.

Выносливость была одним из главных качеств солдата. «Классический» пехотинец всех армий мелковат ростом, жилист и сухощав. Даже гвардия Наполеона состояла из людей среднего роста (в гренадеры гвардии, кирасиры и конную артиллерию набирали мужчин ростом не ниже 178 см), а то и ниже (гусары и конные егеря были ростом 160–165 см.). Так что вряд ли Наполеон испытывал среди своих солдат приписываемый ему комплекс «маленького человека».

В русской армии начала XIX века гвардеец был не ниже 180 см ростом. Зато во французскую гвардию брали людей испытанных (отслуживших не менее 10 лет и участвовав-

ших не менее чем в трех кампаниях в Молодой гвардии и не менее четырех – в Старой), а в русские лейб-гвардии полки брали необстрелянных рекрутов. (Статус «неприкосновенного запаса» делал боевое крещение и вовсе проблематичным. Атака кавалергардов при Аустерлице 2 декабря 1805 года, когда один эскадрон пошел против всей французской армии, была для большинства русских ее участников первой – и последней: как известно, из 200 человек в живых осталось только шестнадцать, в том числе – 16-летний юнкер Сухтелен, который сказал указавшему на его года Наполеону знаменитые слова: «Молодость не мешает быть храбрым». В том же Аустерлицком бою два батальона Измайловского лейб-гвардии полка на фоне общего бегства русской армии пошли в атаку и опрокинули находившихся против них французов).

В кавалерии солдаты были мельче – надо же было и о лошади подумать: долго ли она сможет таскать на себе стокилограммового великана? Так, в русские гусары набирали в основном жителей теперешней Украины ростом 165–169 сантиметров (у них и лошадки в холке были ниже полутора метров, так что гусар даже на коне не больно-то походил на былинного героя). Знаменитый поэт-гусар Денис Давыдов был как раз таким жизнерадостным коротышкой. У Наполеона были свои герои-гусары – Ланн и Лассаль (именно он, а не Ланн сказал фразу: «Гусар, который не убит в тридцать лет, не гусар, а дрянь». Лассалю было 34 года, когда при Ваграме он повел в атаку кирасир Сен-Сюльписа и был сражен австрийской пулей).

Разве что знаменитые в ту эпоху «железные люди Нансути» (французские латники) были великанами – до 180 сантиметров. Однако после русского похода и эти кентавры заметно сдали: Наполеон не смог найти хорошей замены погибшим в России лошадям, и его латники ездили практически на деревенских клячах едва ли не из-под сохи. Неполноценность французской кавалерии некоторые историки считают одной из причин неудачного исхода кампании 1813 года – то и дело побеждая, Наполеон не мог довершить разгром противника, так как нечем было организовать преследование, при котором деморализованный противник обычно нес самые большие потери.

(Впрочем, таранные и деморализующие возможности кавалерии сильно преувеличены потомками. В Битве при Пирамидах 21 июля 1798 года около 15 тысяч мамелюков атаковали французов, но были отбиты с такими потерями в численности и боевом духе, что это решило исход битвы. В 1807 году при Прейсиш-Эйлау Лепик возглавил атаку 10 тысяч французских кавалеристов, прорезал русские линии в двух местах и... не достиг ничего. При Ватерлоо около 10 тысяч французских кирасир раз за разом атаковали английские каре – и тоже без результата).

В русской пехоте требования были попроще: Вальдемар Баязин в книге «Фельдмаршал Барклай» пишет, что если в 1806 году не взяли ни одного рекрута с большими зубами, то в наборы 1810, 1811 и 1812 годов в связи с расходом людей требований, можно сказать, не осталось вовсе: брали уже хромых, частично парализованных, с небольшим горбом, кривых на один глаз («ежели только зрение им позволяет прицеливаться ружьем»), «сухоруких», а из зубов требовали только наличие передних – чтобы мог скусывать патрон. Ведь война проглатывала людей, не морщась: даже при «победоносном» преследовании французов от Тарутино до Немана русская армия потеряла 80 тысяч человек.

Усталость при переходах, болезни и недомогания сильно вычищали ряды всех армий. Чужие армии не заботили Наполеона, но проблема была в том, что и Великая Армия теряла боеспособность с каждым днем именно потому, что была слишком велика. Наполеон стремился решить судьбу войны одним ударом, одним сражением, прежде чем его оружие – армия – придет в негодность. (Непродолжительность походов также извиняла отсутствие палаток и других удобств – сравнительно короткое время без них, и правда, можно было обойтись). Какое-то время это ему удавалось. В 1805 году кампания началась в начале

октября, а уже 20 октября австрийцы сдались в Ульме, 13 ноября французы взяли Вену, а 2 декабря союзники были разбиты под Аустерлицем. В 1806 году Наполеон управился с пруссаками и того быстрее: от первого сражения (при Зальфельде) до вступления французов в Берлин прошло всего-то 17 дней.

Однако с каждой новой кампанией армии всех воюющих сторон, в том числе и Франции, становились все больше. С 1805 году в Великой Армии было только около трети кадровых военных, для которых служба была жизнь. Остальные – новобранцы или солдаты, призванные из запаса, прошедшие до того одну-две кампании. Для тех и других война была не ремеслом, а приключением, которое хорошо лишь до тех пор, пока оно не утомляет. Утомляло же это «приключение» почти сразу.

Кампания 1807 года в Восточной Пруссии началась в ноябре, и уже к февралю обе армии имели жалкий вид. Французский очевидец писал: «Солдаты каждый день на марше, каждый день на биваке. Они совершают переходы по колено в грязи, без унции хлеба, без глотка воды, не имея возможности высушить одежду, они падают от истощения и усталости (...) Огонь и дым биваков сделали их лица желтыми, исхудалыми, неузнаваемыми, у них красные глаза, их мундиры грязные и прокопченные».

Не лучше выглядели в эти дни и русские. Один из русских офицеров писал: «Армия не может перенести больше страданий, чем те, какие испытали мы в последние дни. Без преувеличения могу сказать, что каждая пройденная в последнее время миля стоила армии 1.000 человек, которые не видели неприятеля, а что испытал наш арьергард в непрерывных боях! Бедный солдат ползет как привидение, и, опираясь на своего соседа, спит на ходу: все это отступление представлялось мне скорее сном, чем действительностью. В нашем полку, перешедшем границу в полном составе и не видевшем еще французов, состав рот уменьшился до 20–30 человек». Немудрено, что военные действия возобновились только летом, когда обе армии пришли в себя.

Однажды поняв, что выносливость человеческая не имеет предела, противники все чаще решались на то, что прежде даже не приходило бы в голову. В марте 1809 года русская армия совершила беспрецедентный переход в Швецию по льду Ботнического залива. В истории наполеоновских войн сравнить его не с чем. Пройти надо было около 100 километров – между торосов, волоча за собой пушки. При 15-градусном морозе войска ночевали не только без палаток, но и, чтобы не выдать себя, без костров. 200 солдат обморозились. Только на последней стоянке, уже вблизи шведского городка Умео, солдаты колонны Барклая, разобрав несколько найденных рыбацких лодок, развели огни, при виде которых шведские власти разбил паралич. Городок сдался без сопротивления. Колонна Багратиона вышла недалеко от Стокгольма и своим появлением так потрясла шведов, что король Густав IV Адольф был свергнут, а сменившая его партия запросила мира.

В 1808 году в Испании, стараясь побыстрее добраться до английской армии генерала Мура, Наполеон с войсками перешел перевал Гвадаррама. Был декабрь – время, когда в горах не до шуток. «Снег ослеплял людей и лошадей. Ветер был такой силы, что снес несколько человек в пропасть. Наполеон (...) поговорил с солдатами и посоветовал им держаться за руки, чтобы их не унесло ветром. На середине подъема маршалы и генералы, у которых на ногах были ботфорты для верховой езды, не могли идти дальше. Наполеон сел верхом на пушку, маршалы и генералы поступили так же. Мы продолжали путь таким гротескным образом и наконец дошли до монастыря на вершине горы. Император остановился там, чтобы собрать армию. Нашлись вино и дрова, которые отдали солдатам. Холод был ужасный, все дрожали» (Марбо).

В этой же кампании солдатам приходилось форсировать незамерзшие реки. Мучения были так тяжки, что не выдерживали даже ветераны – они стрелялись, опасаясь попасть в плен гверильясам и принять смерть пострашнее.

(Может, именно памятуя о Гвадарраме, Наполеон в Москве пренебрегал пророчествами Коленкура о жестокостях зимы: ведь там был декабрь и горы – казалось, стоило ли бояться едва начавшегося октября на равнине? Но, видно, в Русском походе кто-то специально занимался его судьбой: даже когда французы и преследовавшие их русские достигли Белоруссии и Литвы, где от погоды можно было ожидать снисходительности, морозы были ниже 25 градусов – совершенно небывалое для тех мест явление).

При этом в погоне за числом Наполеон постоянно поступался качеством войск. Перед войной 1812 года полк, набранный в ганзейских городах для Великой Армии, пришлось вести под охраной. В корпусе Удино был швейцарский полк, в который молодых людей приводили в кандалах. Неудивительно, что дезертирство началось едва ли не с первых дней похода: «Наступила ночь, и тут я стал замечать, что мои дезертиры начинают ускользать в чащу леса. Темнота не позволяла возвращать их на места; оставалось только злиться про себя...», – пишет Куанье (наполеоновский ветеран и знаменитый мемуарист), которому в 1812 году в подчиненные достались испанцы короля Жозефа, категорически не хотевшие воевать. Беглецов ловили, ставили в строй, но при первой возможности они сбегали снова – отсюда невиданная для французской армии убыль в людях. Когда Куанье попытался остановить очередную группу беглецов, те начали в него стрелять! После очередной поимки испанских дезертиров им была предложена страшная лотерея: белый билет означал жизнь, черный – смерть. Расстреляны были 62 человека. «Боже! Какая это была сцена! Вот чем пришлось обновить свой чин лейтенанта!» – записал Куанье.

(В русской армии и у партизан велено было относиться к пленным испанцам с добром – в знак уважения к борьбе их соотечественников на Пиренеях. Точно так же из числа пленных как людей православных отличали кроатов (хорватов): «привели в Городню кучу нахватанных в плен разнородцев; случившиеся между ними кроаты нашего исповедания остановились и начали креститься на церковь по-нашему; их окружили крестьяне и, поняв из славянского наречия, что они захватом взяты на войну против России, тотчас нанесли им пирогов, а ямщики просили позволения на своих лошадях подвезти их в Тверь», – писал князь Шаховской).

Если кампания продолжалась больше трех месяцев, то такая армия как боевой организм переставала существовать. Кампания в России подтвердила это. Сначала стояла небывалая жара, от чего в первые восемь дней похода Великая Армия из 80 тысяч лошадей потеряла каждую десятую, а за первый месяц пали 22 тысячи лошадей. Но 29 июня жара сменилась страшной бурей, громом и градом: «Было невозможно сдерживать лошадей, пришлось их подвязывать к колесам телег. Я умирал от холода. (...) Утром перед глазами предстало душераздирающее зрелище. В кавалерийском лагере, около нас, земля покрылась трупами не перенесших холода лошадей: в эту ужасную ночь их пало более десяти тысяч. (...) Мы вышли на дорогу. На ней мы находили мертвых солдат, которые не могли вынести чудовищного урагана. Это удручающе действовало на значительное число наших людей», – записал Куанье.

5 сентября (22 августа для русских) утром на траве была изморозь. Солдаты поднимались с ночлега простуженными, с ломотой в костях и болью в почках. Лошадей стало так мало, что в Москве из кавалеристов формировали пешие батальоны. «Эта неудачная операция вконец погубит нашу кавалерию. Самый плохой пехотный полк гораздо лучше исполняет пешую службу, чем четыре полка кавалеристов без лошадей; они вопят, как ослы, что не для того предназначены», – писал в дневнике камердинер Наполеона Каstellлан.

Начав в двадцатых числах июня поход с 600 тысячами человек, Наполеон в августе, через полтора месяца, имел под Смоленском только треть этой армии. До Бородина дошел один из пяти наполеоновских солдат. Если бы Москва была еще на 200–400 километров дальше, наполеоновское нашествие сошло бы на нет само по себе, без сражений. Именно

понимание этой нехитрой арифметики лежало в основе стремления Наполеона как можно раньше – пока у него еще есть войска – принудить русских к генеральной баталии.

## 2

**Особенность всех армий того времени состояла в том, что за казенный счет содержались лишь солдаты – офицеры же получали жалованье и потому должны были сами оплачивать свои нужды: покупали на свои деньги лошадей, кормились, обмундировывались.**

Небогатым дворянам некоторые полки были просто «не по карману»: Денис Давыдов, начавший службу в лейб-гвардии Гусарском полку, потом перевелся в Ахтырский гусарский, где расходов было меньше. А Надежда Дурова, единственная на всю русскую армию кавалерист-девица, ради экономии перешла из гусар в уланы.

«Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугою стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянною ложкою, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова», – такой была в 1811 году офицерская жизнь Николая Муравьева, будущего покорителя турецкой крепости Карс, а в 1812 году – 18-летнего прапорщика-квартирмейстера.

Если в мирное время даже небогатый офицер мог как-то жить на жалованье и помощь из дома, то в военное становилось совсем нелегко. «Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши отошдали от непрерывной езды и недостатка в корме..., – так вспоминал об отступлении к Смоленску Николай Муравьев. – У меня открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с которыми я отслужил всю кампанию, до обратного занятия нами в конце зимы Вильны». Великий князь Константин Павлович, видя Муравьева и еще нескольких его приятелей «всегда ночующими на дворе у огня и в полной одежде, то есть в прожженных толстых шинелях и худых сапогах, назвал нас в шутку тептярями» (татарами).

Добыча провианта была одной из главных проблем на войне. Воровство процветало везде и у всех. Фаддей Булгарин писал о том, как снабжалась русская армия во время Финской войны 1808–1809 годов: «злейший наш враг был голод. Из Петербурга непрерывно высылали хлеб, а к войску его доставляли весьма редко. В подводах был совершенный недостаток, а кроме того, партизаны, как я уже говорил, беспрестанно отбивали транспорты по слабости их прикрытия. Хуже партизан были наши провиантские чиновники, как свидетельствует и наш знаменитый военный историк А.И. Михайловский-Данилевский, приводя пример, что в кулях, присылаемых из Петербурга, вместо муки находили мусор! Это совершенная правда. Наказание, которому император Александр подвергнул весь провиантский штат за злоупотребления в кампании 1806 и 1807 годов, лишив его военного мундира, вовсе не подействовало к исправлению провиантских чиновников. Было еще и хуже, чем кули с мусором! Провиантские чиновники рады были, когда шведы отбивали подвижные магазины, потому что тогда они избегали всех проверок, расчетов и отчетов. Только на морском берегу солдаты получали иногда хлеб. Кавалерийские лошади вовсе отвыкли от овса, и даже травы не всегда можно было достать вдоволь. Был также крайний недостаток в обуви и в боевых зарядах. Словом, наша армия была в самом дурном положении во всех отношениях, и все недостатки заменяла храбрость». (Русские солдаты в Финляндии перешли на подножный корм – питались грибами и ягодами).

Чем больше делались армии, тем тяжелее было решить проблему продовольствия. Общепринятая численность армии Наполеона в Русском походе в 600 тысяч человек (гигант-

ская цифра по тем временам – население Москвы было, например, 300 тысяч человек). Но это – только солдаты, офицеры и генералы. А ведь у большинства офицеров были слуги (во французской армии слугу имел даже сублейтенант, младший из офицерского состава), многие брали с собой и семьи (в рассказах о форсировании Березины в декабре 1812 года повторяется один сюжет: француженка, у которой накануне погиб муж-офицер, видя, что ей не спастись, сначала убивает своего ребенка, а ее саму затаптывают стремящиеся к переправе войска). Еще с армией ехали маркитанты (торговцы), кузнецы, конюхи и множество людей тех специальностей, о которых мы в XXI веке и не догадываемся. То, что армия шла несколькими колоннами, кое-как спасало ситуацию. Тяжелее всего пришлось центральным колоннам, шедшим против 1-й и 2-й Западных армий. А вот войска Виктора, Ожеро и Удино, шедших на Петербург, Ренье и Шварценберга, действовавших против Чичагова на территории Белоруссии, Йорка, окопавшегося с корпусом пруссаков под Ригой, до самого декабря 1812 года и не подозревали о бедствиях основных сил Великой Армии.

Только в лагерях или на зимних квартирах государство отвечало за кормление солдат на деле. В походе – только на словах. Как это выглядело, можно понять на примере питания французского солдата: если в лагерях или на зимних квартирах его кормили два раза в день, а в рацион завтрака входило мясо, то в походе вместо завтрака давали кофе и хлеб. Правда, после 1810 года, когда война стала главным предприятием Империи, а солдаты – ее главными рабочими, был регламентирован сухой паек: он состоял из пшеничных сухарей, риса, сухих овощей, фунта мяса и соли. Солдатам полагались литр вина на четверых и литр того, что тогда считалось водкой, – на шестерых. Это и были те «рационы», миллионами заготовленные на пути отступающей Великой Армии – в Смоленске, Вильно, Могилеве, и большей частью погибшие из-за неразберхи и грабежа.

Впрочем, еще на пути к Москве проблемы со снабжением войск были таковы, что по воспоминаниям вюртембергского лейтенанта фон Зукков, «при распределении рационов каждая булка бралась с боем. В этом отношении французы всегда вели себя как малые дети. Здесь было другое поле боя наполеоновских войн...».

Мародеры были во всех армиях, особенно быстро дисциплина падала после поражений. Иван Бутовский, участник кампании 1805 года, описывает, как 3 декабря, уже после Аустерлица, цесаревич Константин застал в одной венгерской деревне русских мародеров. «Бродяги не ожидали такого посещения. На голос Великого князя «Выходи вон, срамцы!» все зашевелилось и начали вылезать с добычей кто в дверь, кто в окно, а некоторые из-под крыш и погребов. Улица была широкая, и приказано строить их там же в шеренги. В присутствии самого Великого Князя огромный Малороссийского полка правофланговый гренадер завяз в дверях и задержал товарищей сзади; на спине у него была клетка, полная живых гусей и кур, по бокам мешки, набитые разной снедью, а на груди висел свежезаколотый дорогой меринос. Константин Павлович спросил его с досадой, но едва удерживаясь от смеха: «Куда ты, жадная душа, набрал столько?» – «На целую артель, Ваше Императорское Высочество!» – отвечал гренадер, выпачканный весь в муке и оглушаемый гусиным и куриным криком». Гренадер в строю мешался другим то бараном, то клеткой, в конце концов цесаревич велел ему идти впереди вместо тамбур-мажора.

Опустошив ранцы и окрестные деревни, солдаты всех армий переходили на конину, да и она в некоторых случаях была деликатесом. Голодать приходилось всем. В 1799 году русские в Швейцарском походе ели коровьи шкуры, по недостатку дров не имея возможности хотя бы их опалить. В дневнике гренадерского капитана Грязева записано: «Мяса было так бедно, что необходимость заставляла употреблять в пищу такие части, на которые в другое время и смотреть было бы отвратительно; даже и самая кожа рогатой скотины не была изъята из употребления; ее нарезывали небольшими кусками, опаливали на огне шерсть, обернув на шомпол, и таким образом, обжаривая воображением, ели полусырую». (В походах

при необходимости вместо соли использовали порох, кашу заправляли свечками, которые тогда делались из сала).

А вот что вспоминал барон Марбо о Прусской кампании 1807 года: «Штаб маршала Ожеро расположился у городских ворот в доме главного садовника герцога (герцог Веймарский находился в рядах прусских войск). Все слуги герцога бежали, поэтому нашему штабу, не нашедшему никакой еды, пришлось ужинать ананасами и сливами из теплиц герцога! Это была слишком легкая еда для людей, которые ничего не ели уже сутки, провели предыдущую ночь на ногах, а весь день в сражении! Но мы были победителями, а это магическое слово дает силы переносить любые лишения».

### 3

**Женщины при армии были и тогда – маркитантки (торговки), офицерские и солдатские жены (при отступлении из Москвы с Великой Армией шли и русские девушки – любовь), проститутки. В Молдавии при Кутузове, например, была «боевая подруга» – молодая женщина, для конспирации переодетая казакон. Об этом «казакон» знали все не только в армии, но и в Петербурге, в том числе и жена Кутузова Екатерина Ильинична.**

Такие же обычаи были и у французов. «Массену обычно сопровождала, даже на войне, некая дама X, к которой он был так привязан, что не принял бы даже командование Португальской армией, если бы император не разрешил ему это сопровождение», – вспоминает де Марбо.

Генерала Александра Тучкова 4-го в походах сопровождала жена Маргарита, переодетая денщиком. В Финляндскую кампанию (зимой 1809 года) она жила в палатке, переправлялась через ледяные реки и снежные заносы. Только в кампанию 1812 года Маргарита Тучкова осталась дома – их сыну не было еще года.

А вот медсестер не было – первые сестры милосердия появились в английской армии только в Крымскую войну 1853 года. Женщин-воинов, амазонок, было совсем немного. В русской армии известна одна – Надежда Дурова. «Гусарская баллада» (пьеса Михаила Светлова, а потом и фильм Эльдара Рязанова) рассказывает историю кавалерист-девицы в облегченном и романтизированном виде. На деле Надежда Дурова сбежала в армию не в 1812 году, а в 1806-м, и вовсе не такой юной – ей было 23 года. Вряд ли она пела перед отъездом песни своим куколкам – к тому времени у нее был муж и трехлетний сын. Уже через год ее раскрыли, однако сам император Александр разрешил Дуровой служить в армии, произвел в первый офицерский чин корнета и наградил знаком Военного ордена. Наградил не за так – в сражении под Гутштадтом 24 мая 1807 года Дурова (тогда – рядовой улан Александр Соколов) спасла офицера. Император и окрестил ее: далее она служила под именем Александра Александровича Александрова. Впрочем, тайну знали совсем немногие.

Были «амазонки» и во французских войсках, но там им не приходилось прятаться. Тереза Фигёр, служившая под именем Сан-Жен в драгунах с 1793 по 1815 годы, даже написала воспоминания «Кампании мадемуазель Терезы Фигёр». Мемуары – чистый боевик: драгуна Сан-Жен пытаются женить, он (она?) попадает в плен, его ранят, он убивает, а в конце – хэппи-энд: драгун Сан-Жен выходит замуж за такого же как он (она) наполеоновского ветерана.

У Дуровой история другая: с возрастом она совсем забыла, что она женщина: Пушкин, которому довелось разговаривать с Надеждой Дуровой (он же правил ее мемуары, так что не стоит им слишком доверять), поразился тому, что она говорила: «я пошел», «я поскакал».

## 4

Одним из «пунктиков» тогдашних королей и генералов большинства воюющих сторон (кроме Наполеона) было единообразие, стремление к тому, чтобы и живые солдаты выглядели так, будто их достали из коробки.

Например, в Павловский гренадерский полк, созданный императором Павлом, набирали под стать ему солдат: невысокого роста, блондинов, обязательно курносых. «Иногда в каком-нибудь взводе павловцев все солдаты выглядели на одно лицо, все похожи, как родные братья, до удивления, до желания суеверно перекреститься: фу, наваждение какое», – писал воспитанник Пажеского корпуса Канкрин.

Требования единообразия распространялись не только на людей: лошадей в кавалерии подбирали по мастям – например, в Кавалергардском полку в 1812 году первый и четвертый эскадроны имели гнедых лошадей, второй – серых, третий – вороных. В английской кавалерии почти полностью погибший при Ватерлоо 2-й драгунский ездил на серых лошадях, за что имел прозвище «Шотландские серые».

Наполеоновские войны были финалом рыцарской эпохи, которая заметна не только в поведении ее участников, но и в деталях обмундирования, особенно у кавалеристов – кирасы, пики, палаши (облегченные мечи). Художники в ту эпоху рисовали мундиры так, чтобы они радовали глаз королей и генералов: яркие краски, высокие султаны и плюмажи. В походе красоты становилось на несколько порядков меньше: солдаты и офицеры лейб-гвардии Измайловского полка высокие черные султаны прятали внутрь кивера, а потом и вовсе, видать, стали выкидывать: когда в Париже царь Александр решил устроить смотр гвардии, султан нашелся только у одного солдата.

Регламентация доходила до смешного: так, Павел Первый однажды на строевом смотре увидел, что мужское достоинство, видимо, по причине утренней эрекции, топорщит солдатские штаны. Казалось – ну и что? Но для Павла и это было, видимо, самоуправство и даже в чем-то якобинство: он издал приказ, согласно которому солдат должен был размещать свое достоинство в левой штанине.

Иногда форма становилась предметом шуток: французы, например, звали англичан «краками» за красные мундиры. Наверняка какие-то прозвища у своих противников получали шотландские полки, выходявшие на поле боя в клетчатых юбках (килтах) и под звуки волынок. При этом юбки – это были еще цветочки. Правда, ягодок Европа не увидела: войска Ост-Индской кампании ходили во времена наполеоновских войн в шортах.

О функциональности задумывались, но – слегка, попутно: например, плетеные жесткие шнуры-бранденбуры на гусарских ментиках и доломанах не просто украшение, а дополнительная защита. По тем же соображениям украшались гребнем из конского волоса каски драгун и кирасир – перерубить конский волос почти невозможно.

Кирасирам, которых в русской армии было тогда восемь полков, полагались еще и панцири (кирасы). Однако новые кирасы начали привозить в армию только в апреле 1812 года. Кавалеристы их не любили. «2 июня на разводе я узнал неприятную новость: нам привезли кирасы, – записал поручик Конной гвардии Миркович. – В 12 часов я пошел примерять мои цепи». Пять кирасирских полков без лат дошли от границы до Смоленска. Некоторые полки получили только переднюю часть панциря, отчего главные потери несли при возвращении из атаки.

Впрочем, обыкновение защищать кирасир латами только спереди не было русским недомыслием – в апреле 1809 года в битве при Экмюле австрийские кавалеристы также имели кирасы только на груди. Последствия описывал в своих мемуарах барон Марбо: «... французские кавалеристы были защищены и спереди, и сзади. Не опасаясь ударов сзади, они

наносили их австрийцам, рая и убивая множество врагов, неся при этом малые потери. Эта неравная битва длилась несколько минут. Затем число убитых и раненых австрийцев стало таким большим, что, несмотря на свою храбрость, они были вынуждены уступить поле боя. Развернув своих лошадей, чтобы отступать, они еще больше поняли, как плохо не иметь кирасы сзади, – битва превратилась в бойню...».

Форма придумывалась так, чтобы по сочетанию цветов воротника и обшлагов, по знакам и султану на кивере можно было с первого взгляда безошибочно понять, к какому полку принадлежит солдат. Это работало, пока армии были относительно невелики. Однако когда счет перевалил за сотню тысяч, в ход пошли уже оттенки цветов, и путаница стала неизбежной. Так, польские уланы в армии Наполеона были одеты почти так же, как уланы в русской армии, отчего по тем и другим то и дело стреляли свои. В битве при Аустерлице французы ожидали, что вот-вот на поле битвы явятся баварцы, тогдашние союзники Франции, от этого баварцами считали все войска в неизвестной форме.

(Что уж говорить о потомках! В фильме «Гусарская баллада» Ржевский говорит переодетой в гусарского корнета Шурочке Азаровой: «Мундир на вас, я вижу, Павлоградский!», хотя волею костюмера картины Шурочка одета в мундир Сумского гусарского полка).

Во время Отечественной войны некоторые русские богачи на свои деньги создали полки. Форму в этом случае придумывал тот, кто платил. «Мой казацкий мундир Мамонковского полка был неизвестен в армии. На голове был большой кивер с высоким султаном, обтянутый медвежьим мехом (подобные шапки имели французские гвардейцы – прим. С.Т.), – вспоминал поэт Петр Вяземский. – Ко мне подъехал незнакомый офицер и сказал, что кивер мой может сыграть со мной плохую шутку. «Сейчас, – продолжал он, – остановил я летевшего на вас казака, который говорил мне: «Посмотрите, ваше благородие, куда врезался проклятый француз!». Вяземский после этого стал носить фуражку.

Когда в 1813–1814 годы против Наполеона вышла на поле боя вся Европа, вопрос, как отличить своих от чужих, стал особенно актуальным. Решили просто: солдаты и офицеры антинаполеоновской коалиции имели на левой руке белую повязку (Стендаль, описывая вступление союзников в Париж 30 марта 1814 года в книге «Жизнь Наполеона», говорит: «В десятом часу человек двадцать государей и владетельных князей во главе своих войск вступили в город через ворота Сен-Дени. Все союзные солдаты ... носили белые повязки на левой руке. Парижане решили, что это эмблема Бурбонов, и тотчас же почувствовали себя роялистами»).

Солдаты как могли приспособливали свое снаряжение к походной жизни: например, пехотинцы в киверах носили чайные принадлежности (чайничек для заварки, сладости, стаканчик). Жозеф Берга, герой книги Эмиля Эркмана и Александра Шатриана «Новобранец 1813 года», рассказывает: «У меня по уставу в кивере были сложены щетка, гребенка и носовой платок».

Некоторые детали формы за особые подвиги объявлялись коллективной наградой.

В сражении под Фридландом 2 июня 1807 года Павловский гренадерский полк при общем отступлении оставался на своих позициях и одиннадцать раз ходил на французов в штыки. Шеф полка генерал-майор Мазовский оставался во главе павловцев, несмотря на два ранения. Когда, обессилив, он не смог сидеть на лошади, то приказал нести его в атаку на руках со словами: «Друзья, неприятель усиливается, умрем или победим!». В этой атаке Мазовский получил смертельное ранение. Последними его словами были: «Друзья, не робейте...».

За геройское поведение Александр Первый повелел оставить в полку каски-гренадерки «навсегда в том виде, в каком сошел он с места сражения, хотя некоторые из них были повреждены. Да пребудут оне всегдашним памятником отменной его храбрости». 13 ноября

1809 года было приказано вычеканить на касках имена их хозяев «для сохранения навсегда памяти сих заслуженных воинов».

Правда, вскоре после Отечественной войны царь сам нарушил свой указ – для единообразия павловцам предписано было носить кивера, как всем. Но случай помог вернуть старые шапки полку. Однажды проходя по Зимнему дворцу, Александр Первый спросил стоящего на часах гренадера Павловского полка Леонтия Тропина: «Что, покойней ли новые кивера шапок?» «Так точно, Ваше Величество, покойней, – отвечал солдат. – Да только в старых шапках неприятель нас знал и боялся, а к киверам еще придется приучать его». Ответ так понравился императору, что он тотчас же велел вернуть полку его старые шапки. Леонтий Тропин же получил унтер-офицерский чин, 100 рублей и право первым приветствовать царя при появлении его перед строем. С тех пор гренадерки остались в полку действительно навсегда. Их «знали и боялись» турки в 1828–1829 и в 1878 годах, поляки в 1831 и 1864, венгры в 1848 году. Во всех сражениях Павловский полк был среди первых, что подтверждают и награды. За войну с польскими мятежниками в 1831 году павловцам даны права старой гвардии. За отличие в войне с турками в 1878 году гренадерские шапки украсила андреевская звезда и знак с надписью «За Горный Дубняк 12 октября 1878 года».

28 октября 1812 года Псковский драгунский полк в бою у деревни Ляхово разбил полк французских латников. В качестве трофея драгуны забрали себе французские кирасы. Император Александр повелел с тех пор считать Псковский полк кирасирским и оставил за ним право носить взятые с бою кирасы навсегда. Однако за них как за почетный боевой трофей была многолетняя тяжба между Псковским и Каргопольским драгунскими полками: каргопольцы говорили, что это они в бою под Красным «раздели» латников, и требовали кирасы вернуть. Были и другие мнения: говорили, будто псковские драгуны вовсе не взяли доспехи с боя, а нашли брошенными на дороге. В конце XIX века все решилось само собой: в 1863 году кирасы сдали на хранение в киевский арсенал, а в восьмидесятые годы, когда всю кавалерию преобразовали в драгунскую, трофейные кирасы пошли в переплавку. В 1912 году историки полка поднимали вопрос о возвращении ему хотя бы внешне формы славных предков. Однако потом началась Первая мировая и целый ряд других событий, в свете которых дискуссия о псковских кирасах сошла на нет...

Коллективными были не только награды, но и наказания. В Новгородском мушкетерском полку, который под Аустерлицем бежал на глазах у Александра I, офицерам было запрещено носить темляки на шпагах, солдатам – тесаки, офицеров не производили в чины и не увольняли, а солдатам добавили еще по 5 лет службы. До своего прощения в 1810 году полк не имел знамен. (Да и прощение ли это было – полк переименовали в 43-й егерский). Томский мушкетерский полк, героически сражавшийся в Бородинском бою, тем не менее не получил за это никаких наград – в том же бою попал в плен генерал Лихачев, шеф полка, а это было серьезным проступком: «Не спасли шефа».

А вот 12-й английский уланский полк, солдаты которого разграбили в Испании женский монастырь и изнасиловали монашек, был наказан Веллингтоном практически на века: в течение 100 лет полку надлежало каждый вечер в 10 часов выстраиваться под ружье, солдаты молились и пели гимны. (Это кроме того, что непосредственных виновников расстреляли сразу). Наказание перестало действовать только в августе 1912 года.

## 5

**В атаку в те времена ходили в полный рост, сомкнутыми колоннами. Кланяться пулям считалось позорным делом. В бою под Островно корпус Остерман-Толстого нес огромные потери от артиллерийского огня.**

Однако на вопрос, не переместить ли войска, Остерман отчеканил: «Стоять и умирать». Сам он, как подчеркивают историки, стоя под таким же огнем, ел из фуражки черешню.

Соображения для этого «Стоять и умирать» могли быть разные. Некоторые командиры полагали, что если позволить солдату нагнуться, то он скоро и ляжет, а потом его уже не поднять. «Для вразумления» дрогнувших частей командиры нередко прямо под огнем устраивали строевые учения – солдаты выполняли строевые приемы, перестраивались, осыпаемые градом картечи и ружейных пуль. В романе Загоскина «Рославлев» описан как раз такой эпизод:

«Три ядра, одно за другим, прогудели над головами солдат; четвертое попало в самую средину каре.

– Не прибавляй шагу! – закричал Зарядьев. – Примкни! Передний фас, равняйся!.. В ногу!.. Заболтали!.. Вот я вас... Стой!

Каре остановилось; еще несколько ядер выхватило человек пять из заднего фрунта, который приметным образом начал колебаться.

– Не шевелиться! – закричал громовым голосом Зарядьев, – а не то два часа продержу под ядрами. Унтер-офицеры, на линию! Вперед – равняйся! Стой!.. Тихим шагом – марш!

– Послушай, Зарядьев! – сказал вполголоса Рославлев, – ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти в ногу, выравнивать фрунт, делать почти ученье под выстрелами неприятельской батареи!.. Я не назову это фанфаронством, потому что ты не фанфарон; но, воля твоя, это такой бесчеловечный педантизм...

– Эх, братец! Убирайся к черту со своими французскими словами! Я знаю, что делаю. То-то, любезный, ты еще молодец! Когда солдат думает о том, чтоб идти в ногу да равняться, так не думает о неприятельских ядрах.

– Положим, что так; но для чего вести их тихим шагом?

– А ты бы, чай, повел скорым? Нет, душенька! От скорого шагу до беготни недалеко; а как побегут да нагрянет конница, так тогда уже поздно будет командовать...».

При этом нужно помнить, что и сам командир находился здесь же, под этим же страшным огнем. И эта запредельная и по нынешним меркам бессмысленная храбрость была обычным делом в те времена.

Резервы ждали своей очереди, стоя в полный рост. Это страшное время коротали как могли. Будущий декабрист Сергей Трубецкой, полковник лейб-гвардии Семеновского полка, в бою под Лютценом ради шутки подошел сзади к известному полковому трусу штабс-капитану Боку и бросил ему в спину ком земли. Бок с перепугу упал.

Офицеры-новички щегольства ради иногда норовили пнуть долетавшие до резервов ядра. Порой это дорого обходилось: даже на издыхании ядро не теряло своей силы и могло оторвать ногу. Но игра со смертью была обычным делом во всех армиях тех лет. Особо иронические формы это приняло в английской армии, воевавшей в Испании: британские офицеры ходили в атаку с зонтиком и сигарой. Погибали они так часто, что Веллингтон в конце концов запретил это щегольство своим приказом.

Капитан Франц Моргенштайн из 2-го вестфальского линейного полка 8-го корпуса описал следующий эпизод, относящийся к Бородинской битве. Когда рота Моргенштайна стояла под обстрелом в резерве без движения, к нему подошел фельдфебель, опытный профессиональный солдат, воевавший в армиях Гессен-Касселя, Пруссии и Австрии. Со своеобразным солдатским юмором он посоветовал Моргенштайну приказать солдатам высунуть языки, рискнув предположить, что почти у всех они совершенно белые – согласно проверенной примете, это безошибочно означало сильный страх. Действительно, языки всех солдат были белыми, как и их собственная униформа (у вестфальцев были белые мундиры). Язык же фельдфебеля был ярко-красным, «как лобстер». Сам же Моргенштайн на предложение фельдфебеля показать свой собственный язык отделался шуткой.

Вахмистр французского кирасирского полка Тирион вспоминал, как долгие часы на Бородинском поле он с товарищами ждал сигнала к атаке: «Неподвижно стоя перед русскими, мы отлично видели, как орудия заряжались теми снарядами, которые должны были лететь в нашу сторону, и как производилась наводка орудий наводчиками; требовалось известное хладнокровие, чтобы оставаться в этом неподвижном состоянии. К счастью, вследствие ли взволнованного состояния прислуги или плохой стрельбы или по причине близости расстояния, но только картечь перелетала наши головы в нераскрытых еще жестянках, не успев рассыпаться и рассеяться своим безобразным веером».

Скорострельность ружей и пушек уже тогда была нешуточная, однако рассыпному строю и тактике индивидуального бойца, которые могли бы снизить потери, учили в русской армии только егерей (у них и перевязи амуниции были черные – все же не так видно, как белые пехотные ремни). Впрочем, при Бородине, Лейпциге и при Ватерлоо пехота уже устраивала «засады»: солдаты залегали в пшенице, а потом, внезапно поднявшись, расстреливали противника в упор.

Полевые укрепления представляли собой земляные валы разной формы. Флеши или люнеты были открыты сзади, редут (редан) был замкнутой постройкой. Вход в редут (горжа) по правилам должен был быть укреплен особо. Оттого при Бородине прорыв конницы Огюста Коленкура в редут Раевского через горжу, произведенный после трех часов дня, когда у Наполеона кончилась пехота, с самого начала представлялся делом отчаянным. Колючая проволока еще не была изобретена, поэтому перед фортификациями устраивали «засеки» и «палисады» (заборы из заостренных бревен, обращенных в сторону атакующего) и «волчьи ямы» (замаскированные ветками ямы с заостренным колом на дне). Правда, «волчьи ямы» уже после одной-двух атак забились мертвецами и ранеными вровень с землей.

Укрепления в те времена предназначались для артиллерии, ценившейся высоко – потеря орудия приравнивалась к потере знамени. Поэтому обычно артиллеристы уезжали с позиций при первой серьезной угрозе и большого урона противнику не наносили. Эти и другие правила, а также относительное несовершенство ружей и пушек позволяли солдатам служить десятилетиями, почти ежегодно бывая в боях.

Однако перед Бородинским сражением русская артиллерия получила приказ своего начальника генерала Кутайсова: «Подтвердите от меня во всех ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки; сказать командирам и всем господам офицерам, что только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции; артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий». Такой же приказ Кутайсов издавал перед Прейсиш-Эйлауской битвой.

Картечный заряд представлял собой жестяную банку с пулями, которых в зависимости от калибра орудия могло быть от 60 до 150. В русских артиллерийских ротах было по 12 орудий, скорость стрельбы в критической ситуации составляла 4 выстрела в минуту (!). Неудивительно, что каждый пушечный залп выкашивал целые ряды в плотных французских колоннах (по регламенту, солдаты должны были чувствовать локоть друг друга). При этом еще и двигались колонны по полю боя довольно неспешно – 76 шагов в минуту. Это требовалось для того, чтобы не разорвать строй, но делало пехоту отличной мишенью.

Однако и артиллеристы становились людьми обреченными. Орудийная прислуга оружия, кроме тесаков, не имела. Когда пехота или конница захватывали батарею, артиллеристы отбивались банниками и прочим подручным инструментом.

В одну из таких переделок при Бородине попал генерал Василий Костенецкий (начальник артиллерии 6-го пехотного корпуса) – «грозного вида, сильный и храбрый как лев»,

которого цесаревич Константин за силу и рост прозвал «Василий Великий». Костенецкий вскочил на пушку и начал крушить французских кирасир банником. Чудом на этот раз артиллеристам удалось отбиться. Костенецкий потом написал царю рапорт – просил банники делать полностью из металла, а то в рукопашной ломаются. Царь ответил: «Банники из железа сделать можно. Но где сыскать Костенецких?».

Ожесточенность Бородинского боя была чрезвычайная. На панораме Рубо «Бородинская битва» изображен русский кирасир, врубившийся в массу саксонских латников. Считается, что сюжетом для Рубо была геройская гибель штаб-ротмистра Кавалергардского полка Павла Римского-Корсакова. «Необычайного роста и силы», он, вломившись в неприятельский строй, снес палашом нескольких противников, будучи окружен, отказался сдаться и был застрелен французами.

Александр Щербинин, которому в 1812 году был 21 год, записал в воспоминаниях: «Я прошел весь ряд генеральных сражений 1812, 1813 и 1814 годов и могу определенно сказать, что все те сражения соотносятся к Бородинскому как маневры к войне». Еще бы: на поле было больше тысячи пушек и больше 200 тысяч солдат с ружьями (умелый солдат успевал сделать четыре выстрела в минуту). Адьютант Багратиона Сергей Маевский записал: «Багратион послал меня к Раевскому посмотреть, что у него делается. Раевский взвел меня на высоту батареи. Сто орудий засыпали ее чугуном. Раевский с торжествующей миной сказал: «Скажи князю – вот что у нас делается!».

На другой стороне поля маршал Мюрат, Неаполитанский король, увидев отступающий отряд, спросил у его командира, что происходит? «Под таким огнем нельзя оставаться! – ответил офицер. «Ну так я-то здесь остаюсь!» – вскипел Мюрат. «Да, это так, – ответил офицер и скомандовал, – солдаты, возвращаемся: дадим себя убивать!».

Потери полков, как русских, так и французских, в критических местах Бородинского поля были огромны. Из 4 тысяч 100 человек 30-го линейного полка, ворвавшегося на батарею Раевского около полудня, в живых остались только 257 солдат и 11 офицеров. А из 563 солдат и офицеров Астраханского кирасирского полка, участвовавшего в кавалерийских сражениях, развернувшихся на Бородинском после 14 часов, когда обе стороны исчерпали пехотные резервы, в строю остались всего 95 человек (из них 40 были представлены к наградам).

Брандт, один из офицеров Великой Армии, записал: «Редут и его окрестности представляли собою зрелище, превосходившее по ужасу все, что только можно было вообразить. Подходы, рвы, внутренняя часть укреплений – все это исчезло под искусственным холмом из мертвых и умирающих, средняя высота которого равнялась шести-восьми человекам, наваленным друг на друга. Перед моими глазами так и встает лицо одного штабного офицера, человека средних лет, лежавшего поперек русской гаубицы с огромной зияющей раной на голове. При мне уносили генерала Огюста де Коленкура; смертельно раненный, он был обернут в кирасирский плащ, весь покрытый огромными красными пятнами. Тут лежали вперемешку пехотинцы и кирасиры, в белых и синих мундирах, саксонцы, вестфальцы, поляки. Среди последних я узнал друга, эскадронного командира Яблонского, красавца Яблонского, как его звали в Варшаве!».

Обер-шталмейстер императора Арман Коленкур описывал, как Наполеон, объезжая по окончании битвы Бородинское поле, наткнулся возле батареи Раевского на кучку солдат с четырьмя или пятью офицерами. «Присоединитесь к вашему полку!» – приказал император. «Он здесь», – отвечал офицер, показывая на валы и рвы редута, на шеренги мертвецов.

Обычно после битвы на полях «прибирались» похоронные команды: мертвецов сжигали, предварительно соорудив из них гигантские «поленницы». Однако «прибрать», например, на поле Бородина французам было недосуг, а крестьяне разоренных деревень Бородино, Семеновское и Горки, разбрелись. Тысячи мертвецов оставались лежать здесь до самой

весны 1813 года. Голых, полусгнивших, объединенных лесным зверьем, их сжигали на огромных кострах. При этом есть рассказы о раненых, которые сумели прожить на Бородинском поле до поздней осени – переползая от мертвеца к мертвецу, они искали в сумках и ранцах хоть какую-то еду.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.